

международный журнал поэзии
intercultural magazine for poetry and arts



2023

И
Н
Т
Е
Р
П
О
Э
З
И
Я

2023

ИНТЕРПОЭЗИЯ



ИНТЕРПОЭЗИЯ

Международный журнал поэзии

2023, избранные тексты выпусков 68–71



Нью-Йорк – Москва

Главный редактор и издатель: Андрей Грицман (*Нью-Йорк*).
Соредактор: Вадим Муратханов (*Москва*).

Редакционная коллегия: Лилия Газизова (ответственный секретарь, *Кайсери*), Александр Вейцман (секция переводов, *Нью-Йорк*),
Марина Гарбер (секция критики и литобзоров, *Лас-Вегас*),
Лариса Щиголь (*Мюнхен*), Марина Эскина (*Бостон*),
Дмитрий Тонконогов (*Москва*).

Редакционный совет: Владимир Гандельсман, Юлий Гуголев,
Владимир Друк, Бахыт Кенжеев, Наталья Полякова,
Владимир Салимон, Александр Стесин.

Зав. редакцией: Елена Ариан.

ISSN № 1554–9313 Электронная версия
ISSN № 1554–9305 Печатная версия

© Авторы, тексты

© Интерпозиция, состав и оформление



Журнал издается при участии издательства
NUMINA PRESS, Калифорния
(<http://www.numinapress.com>).

ИНТЕРПОЭЗИЯ — международный журнал лирической поэзии, основан в 2002 г. Мы публикуем стихи, переводы, короткую прозу («стихопрозу»), эссеистику, интервью, дискуссии и отзывы о новых книгах и журнальных публикациях. Журнал ежеквартально выходит в электронной версии на сайте interpoezia.org; по итогам года выпускается бумажная версия с избранной поэзией, прозой и эссеистикой.

Наш журнал — это поэзия «поверх границ», в координатах времени и пространства. Наши времена — потерянность в толпе и одиночество в глобальном межкультурном пространстве, когда поэзия становится основным способом общения между посвященными. Это также попытка навести электронный мост между материками двух мощных языковых и литературных культур: русской и англоязычной. Русский язык, а с ним и поэзия, живет и развивается, подобно современному английскому, на разных территориях: в метрополии, в дальнем и ближнем зарубежье. Сведение под одной небесной крышей поэтов и редакторов из разных стран сегодняшнего обитания поможет найти общий поэтический язык.

Адрес редакции:

Interpoezia, Inc.
80 Crain Road
Paramus, NJ 7652
USA

Электронный адрес: editor_interpoezia@hotmail.com

Все материалы в редакцию рекомендуется отправлять по электронной почте.

*Просьба присылать **не более 10 страниц текста с краткой биографией**. Большие объемы редакция не рассматривает.*

Рукописи не рецензируются.

Авторские права передаются авторам после публикации. Все материалы опубликованы с согласия авторов. Просим при перепечатке наших материалов ссылаться на источник.

Журнал можно приобрести:

Нью-Йорк: в нью-йоркской редакции журнала у Елены Ариан
editor_interpoezia@hotmail.com

Москва: в магазине «Фаланстер», ул. Тверская, д. 17
(вход с Малого Гнездиковского переулка);
в московском отделении редакции у Вадима Муратханова
khanmurid@mail.ru

Представитель журнала в **Санкт-Петербурге:** Наталья Дзе
natashka75@inbox.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Владимир Салимон В КРАЮ ПУСТЫННОМ.....	11
Марина Эскина ПРИСЯДЬ НА ДОРОГУ.....	16
Александр Правиков ПОСЛЕ ТЬМЫ	21
Вадим Муратханов ЗАЖМУРЬСЯ И ЛЕЗЬ.....	24
Татьяна Вольтская НИ ПАРАДОВ, НИ ЗНАМЕНИ	26
Марк Вейцман СТАРОЕ ФОТО.....	29

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Виталий Науменко БЕДНОСТЬ, ИЛИ ДВЕ ДЕВУШКИ ИЗ БОГЕМЫ <i>Главы из романа</i>	33
--	----

ПОЭЗИЯ

Борис Херсонский ШЕСТЬ ЭКЛОГ.....	45
Дана Курская ЗА НОВЫХ НАС	54
Юлия Пикалова ГОРЯТ ЛЕСА И ГОРОДА	59

Галина Нерпина В БЕЗЫМЯННОМ ГРЯДУЩЕМ	62
--	----

Александр Вейцман ПАМЯТИ МЗ	64
---	----

Елена Тверская ДЕННО И НОЩНО	67
--	----

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Алла Дубровская МОСТ <i>Этюд</i>	71
---	----

ПОЭЗИЯ

Игорь Иртеньев ИЗ НИОТКУДА В НИКУДА	75
---	----

Виктор Есипов МЕЖ МИРОМ И ВОЙНОЮ	78
--	----

Виталий Мамай ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ	80
--	----

Заир Асим ТИХОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ	83
---	----

Владимир Иванов СКРЫВАЙ, ЧТО ТЕМЕН	86
--	----

Михаил Калинин РАЗГОВОР С МЕРТВЫМИ	92
--	----

Ян Пробштейн ИДЕТ ПО СТРАНЕ ГУМАНОИД	97
--	----

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Елизавета Гарина ВНУТРЕННИЕ ЛАНДШАФТЫ	103
---	-----

ПОЭЗИЯ

Вячеслав Баширов ЕСЛИ ВКРАТЦЕ	109
Нина Косман В САДУ РОДНОГО ЯЗЫКА	114
Григорий Стариковский ПРОСЫПАЙСЯ, МОЛЛЮСК	120
Юлий Хоменко ЛЕТНОЕ ПОЛЕ	125
Евгений Степанов ЖИВЫЕ НЕБЕСА	127
Геннадий Капранов А Я НАЧИНАЛ-ТО С ЛЮБВИ КО ВСЕЛЕННОЙ! <i>Вступительные слова Лилии Газизовой</i> <i>и Юрия Кучумова. Публикация Лилии Газизовой</i>	129

VERBA POETICA

Валерий Черешня ТРИ ЭТЮДА О ТВОРЧЕСТВЕ ПАСТЕРНАКА	143
Валерий Бочков УСПЕТЬ ДОБЕЖАТЬ ДО КАНАДСКОЙ ГРАНИЦЫ	151

ПЕРЕВОДЫ

Лэнгстон Хьюз СОН МОЕЙ ЖИЗНИ <i>Перевод с английского Виты Штивельман</i>	161
Георг Гейм ОСЕННИЙ ВЕЧЕР <i>Перевод с немецкого Константина Матросова</i>	164

Олег Коцарев

ВТОРАЯ РУКА

Перевод с украинского Станислава Бельского.....171

IN MEMORIAM

Андрей Грицман

К СТОЛЕТИЮ А.П. МЕЖИРОВА.....177

Зоя Межирова

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ МЕЖИРОВЕ.....183

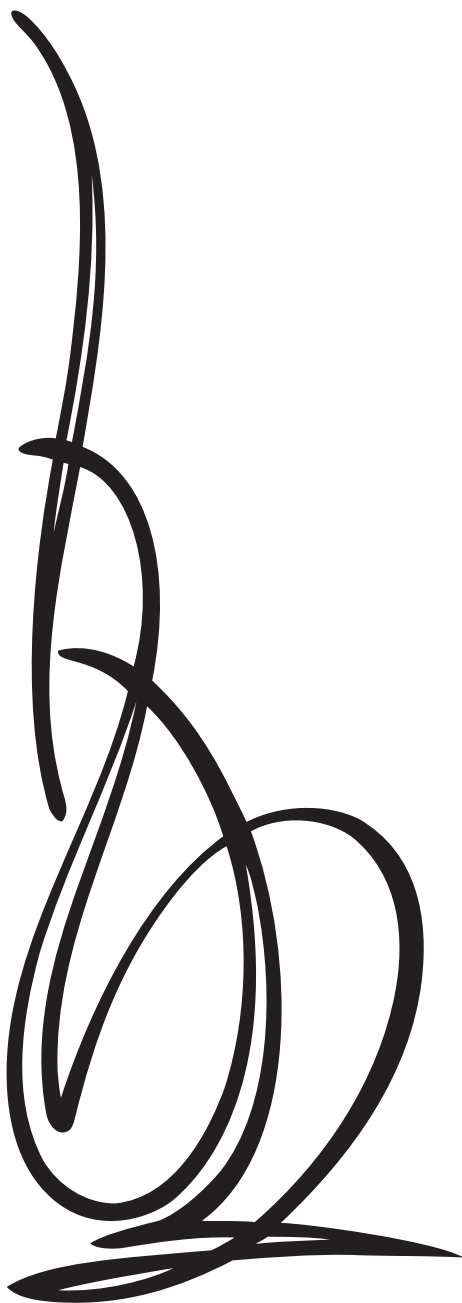
Ирина Машинская

«НИ АД, НИ БЛАГОДАТЬ...».....188

Александр Избицер

«ВСПЫШКОЙ ПАМЯТИ МГНОВЕННОЙ».....193

ПОЭЗИЯ



Владимир Салимон

В КРАЮ ПУСТЫННОМ

* * *

Может, кем-нибудь горошина
не без умысла была
под матрас тебе подложена —
ты крутилась, как юла.

Я, вставая, лампу блеклую
над кроватью зажигал
и твою подушку мокрую
в изголовье поправлял.

Одеяло, на пол сползшее,
потянув за уголок,
говорил:
*Моя хорошая,
спи спокойно, с нами Бог.*

*С нами Он — в том нет сомнения —
и тогда был, и теперь.
То не ветра дуновение
распахнуло настежь дверь.*

*То не молния проворная
промелькнувши за окном,
осветила небе темное,
осенила нас крестом.*

* * *

Следы сопливых слизняков
причудливы, как арабески.
Сеть их таинственных следов
на влажных тропах в перелеске.

Поблескивая в полутьме,
они внимание привлекают,
но разгадать их смысл в уме
напрасно путники дерзают.

Нам не осмыслить никогда
бороздок на песчаных дюнах,
на глади сонного пруда
кругов загадочных рисунк,

пока не в силах мы в своих
словах и мыслях разобраться,
в делах постыдных и в дурных
поступках собственных сознаться.

* * *

Проходит ночь. Спадает зной.
Узкоколейки плотно
петляет, словно крепостной
вал, вросший в грунт давным-давно.

Травой дорога заросла.
Ее едва заметен след.
Но мы твердим: Была! Была!
Была, но вот ее уж нет.

Как нет и тех, кто проложил
в краю пустынном этот путь —
быть может, их Жиган убил,
иль пострашнее кто-нибудь.

Вот Колька Свист!
У паренька —
нюх, как настали времена
покруче, поступил в ЧК.
Наперсточник. Щипач. Шпана.

* * *

Нательный крестик под мундиром
мелькнул, когда он перед сном
свой обнажил заплывший жиром
торс в светлом сумраке ночном.

Вагон скрипит. Стучат колеса.
Ночь за окном не столь черна,
как думалось, — она белеса.
Иль то — тумана пелена?

Читать нельзя, но и не спится.
И слышу я, как за стеной
гремит посудой проводница
и как сопит попутчик мой.

Он спит и крепко, и глубоко.
Как спят живые существа
все те, что не боятся Бога,
как листья спят, как спит трава.

Как, за собой вины не чуя,
впавалку спят на дне морском
песок и камни, не тоскуя
и не печальясь ни о чем.

* * *

Дождь явился самочинно.
И не хочет уходить.
Продолжает, дурачина,
мять траву и грязь месить.

Лег я спать, а мне не спится.
Из-за этого дождя
у меня в глазах двоиться
стало малость погода.

Преломился свет фонарный
в струях хлынувшей воды,
превратившись в лучезарный
свет неведомой звезды.

И, как путник по дороге
шедший, я, ориентир
потеряв, смотрел в тревоге
на чужой мне, новый мир.

* * *

Тумана серебристый кокон.
И где-то там — внутри него —
смех слышен из открытых окон.
И плач — его узнать легко.

Рыдает женщина в тумане,
мне оставаясь не видна,
как будто чаша испытаний
еще не допита до дна.

За драку сын сидит в кутузке.
Муж бросил. Схоронила мать.
Но это, говоря по-русски,
толика — краю не видать.

Пути земного середина.
Лес сумрачный.
Холодный дом,
скрипящий по ночам, как льдина,
что тает в климате морском.

Сил нет чуть свет подняться с койки,
дров принести, кур покормить.
И никакие перестройки
ничто не могут изменить.

* * *

Не отгородиться садом,
лесом, полем и рекой
от того, что близко, рядом,
в двух шагах, подать рукой.

Колет глаз и режет ухо
ярких фар слепящий свет
и жужжащий, словно муха,
за окном велосипед.

Тишиной ночной стократно
звук усиленный в кошмар
превращается внезапно,
в ужас — свет горящих фар.

Но мучительней, больнее
незнакомый раньше звук,
что становится слышнее,
заглушая сердца стук,
отдаленной канонады.

Отблеск — в хмурых небесах.
Чувства горечи, досады
притупляют даже страх.

* * *

Я радуюсь, я не могу
не радоваться, что не умер,
хотя у медиков в долгу
и под ключицей бьется зуммер.

Когда по номеру сосед,
включивши лампу, громогласно
заявит вдруг: Да будет свет! —
дав мне понять, сколь жизнь прекрасна.

Да будет свет! Да сгинет тьма!
Я повторю за ним невольно
слова банальные весьма,
теперь звучащие крамольно.

Как миру мир,
как нет войне.
Иль что-нибудь в подобном роде.
Мне радостно, что не вполне
я разуверился в народе.

Что я еще не потерял
надежду, что мечту лелею,
чтоб гимнастерки не сжимал
воротничок удавкой шею.

Марина Эскина

ПРИСЯДЬ НА ДОРОГУ

* * *

Я боюсь умереть, не боюсь умереть,
это «любит — не любит» игра;
вот бы чеховской душечкой скорбную треть
протянуть, да не хватит нутра;

можно кошкой гордиться, собакой болеть,
или просто жуком и шмелем
любоваться, но то, что сильнее, чем смерть,
не разбудишь в засохшем своем

заскорузлом, зажатом, привыкшем молчать,
под ледком, под его холодком,
а ведь было голодным, как стая волчат,
было щедрым, делилось пайком.

Отсвет жара осеннего, луч из окна,
упади мне на линзу зрачка,
пусть затеплит огонь световая волна
и спалит гордеца, дурачка.

* * *

Присядь на дорогу, мне нравится этот обычай,
чтоб лучше запомнить момент этот тающий, птичий,
и чтобы на сердце не груз расставания едкий,
а сразу полет, как у птицы, стартующей с ветки.
Помедли, душа, уходить из некрепкого тела,
ты в нем огрубела, но не до конца зачерствела,
доты не запирая и не оставляя ключи нам,
согрей на прощанье словами любви беспричинной.

ИТАЛИЯ 2022**1. LA MADDALENA**

Спуститься по узкой прохладной лестнице
 на круглую площадь,
 с одного бока обрамленную бухтой,
 войти в соседнюю дверь,
 вдохнуть разноголосый запах свежего хлеба,
 напоминающий об экзотических цветах,
 в следующей лавочке купить ricotto gentile
 и две груши,
 маленькие и твердые, но уже сладкие.
 Подумать, как я здесь оказалась?
 Представить себе дерево, усыпанное крепкими желтыми грушами,
 похожими на елочные игрушки.
 Подняться по все еще прохладной лестнице, 50 ступенек,
 выйти на балкон
 и прочитать в телефоне про то,
 что случилось в Украине за ночь и утро,
 и после смотреть на бухту, ее синюю искрящуюся воду,
 смотреть, пока на глаза не набегут
 злые, похожие на маленькие груши,
 слезы и не выкипят на уже разгоревшемся средиземноморском
 солнце,
 не долетев до земли.

2.

У моря листья инжира
 пахнут зелено-синим,
 напоминая живо
 Геленджик и безделье
 после первого курса,
 там не было только пиний.
 Добавим Ладисполь в апреле
 девяностого, как искусно
 в нашей халупе солнце
 съедало зимнюю плесень;
 под пинией в продранном кресле
 сидит отец, он не в курсе,
 что опять в Европе.

Что если он там гоняет
сейчас на трофейном КаЭсе,
как тогда в 45-м?
Альцгеймер, наверное, знает.
Для нас он закутан халатом
бухарским и отдыхает;
я на работе в Джоинте,
муж подрядился строить,
мама под кустом инжирным
занята нежирным обедом,
мальчишкам покой неведом.
На земле и в небе сиеста,
отец поднимается с места
и тихо уходит в Бердянск, домой,
где пахнет гефилте фиш и прочей стряпней,
а значит, Песах, и будет афикоман,
дальше туман.
Уже мы ищем его всей семьей,
ребятам беготня, суета, семь бед,
у мамы сердце и остыл обед,
я врываюсь в чужую сиесту с криками
— uomo veccio, nero beretto?!!
не вижу белого света,
не жду ответа.
Черный берет скоро найден в канаве,
из дома напротив звонят городской управе,
потом в полицию,
муж, наверное, разозлится,
на меня за панику,
ничего не успевает случиться.
Отец приходит из ниоткуда сам,
мы не верим своим глазам,
он снова в кресле.
Пахнут пиния, солнце, инжир, все вместе,
к нам заходят гости,
ждем из Штатов известий,
где мы опустим кости.

* * *

Я на зиму не жалуясь, что там,
я, скорее, ее патриотом
поневоле считаю себя;
на морозом прихваченной горке
я жую апельсинную корку,
варежку теребя.

Шьет и порет зима без подгонки,
вниз летишь на шершавой картонке,
ледяными ступеньками — вверх,
строго в очередь, всем ведь охота,
так и станешь ее патриотом,
чтобы всё как у всех.

Языком на морозе к железке
прилипала по глупости дерзкой,
вкус соленый во рту;
молчаливой и косноязычной
стала, будто все дерзости вычли
платежом по суду.

Но, в порыве везенья ли, страха,
в коридоры мороза и мрака
вышла и заблудилась в лесу,
и уже не вернулась с повинной;
жизнь, как ящерица, половиной
обломилась и всё.

Приросла, прижилась, загудела,
будто выдали новое тело,
как чужое на вырост пальто;
но зимой по привычке суровой
патриотом становишься снова
ни за что ни про что.

* * *

Кто яблоко с облаком не рифмовал,
тот не испытал себя, не рисковал,
не проще ль поддаться соблазну,
и легче становится сразу;
запретного яблока как не вкусить
тайком или с другом/подругой,
а облако ветер несет во всю прыть,
угнаться за ним и не пробуй;
срифмуем, авось не заметит никто
на вешалке смысла пустого пальто,
пока оно полнится ветром,
дыханьем и Ветхим Заветом.

* * *

Утром свет по стволам прибрежным стекает в пруд,
а к полудню пруд отраженьем платит с лихвой,
я бы ствол обняла, приросла и осталась тут,
на шершавую кору упав головой.

У прибрежной ивы много милых сестер,
незаметно станет больше сестрой одной,
ива плохо горит, не надо ее в костер,
плакать зато хорошо над водой, водой.

Александр Правиков

ПОСЛЕ ТЬМЫ

* * *

Миллиарды последних людей на земле,
Оглянитесь прощально — вот чай на столе.
Он остынет без вас и засохнет,
А сирень отцветет и заглохнет.

Это было у Бредбери, и у кого
Только не было это — считай, с самого
Патриарха почтенного Ноя.
А теперь вот с тобой и со мною.

Необычное чувство — быть первым с конца.
Я как будто примерил рубаху отца —
До колен доходила когда-то,
А теперь вот уже тесновата.

Очень просто кончается мир или Рим
И уходит эпоха — с дыханьем моим.
С прекращеньем диастол и систол
(Не считайте меня солипсистом).

Ну и ладно, но после конца, после тьмы
Пусть не только друг с другом увидимся мы
В небывалом неслыханном новом —
С золотистым просветом кленовым,

С горьким запахом липы, с закатным огнем,
С майским днем и с дождливым ноябрьским днем
И с той белой луной, что, бывало,
В черном небе огромно вставала.

* * *

1

В ту зиму ожидался снег.
И так давно он ожидался,
Как будто медленно рождался
И подрастал как человек.

Когда же он пошел, то мне
На пять минут, но показалось,
Что мировое зло ужалось
До малой трещинки в стене.

Всё белое, как небеса.
Всё небеса, и мы летаем.
А голоса в отделе тайн
Переговариваются.

2

В то лето был повсюду мор,
И так наслаивались числа
Потерь, как будто бы случился
В небесном войске недобор,

И вот берут уже не в срок,
Кто недорос и не обучен
(Надеюсь, тот, кто их по тучам
Там строит, к ним не очень строг).

* * *

Приунуть по серьезным причинам,
А потом безо всяких на то
Оснований в спокойствии чинном
Опустить на дно, как Кусто.

Здесь на мартовском солнечном дне я
Полюбуюсь подводной травой.
Нынче шторм, раскачало сильнее
Океан над моей головой.

А досюда докатится разве
Отдаленный бессмысленный гул
Да на голову мне (безобразие!)
Упадет, если кто потонул.

Ну привет! Отряхнись, успокойся.
Посмотри-ка на рыб — хороши?
Нет, конечно, не умер, не бойся.
Это раньше ты думал, что жил.

* * *

В окнах и на улицах горит
Жар не согревающий осенний.
Запах увяданья говорит
О нерассуждающем веселье.

Весело, не знаю почему.
Руки, искривленные, как ветки,
Тянет клен, я тоже подниму —
Как отличник, жаждущий отметки.

Клен, как ярко-желтый твердый знак,
Врезан в синеву. А ну попробуй
Нарисуй — получится не так.
Жизнь еще таинственна, еще бы.

Красота, сводящая с ума.
Нам ли горевать, на самом деле.
Дерево, что нам с тобой зима,
Эти все метели мы вертели

Каждый год, и можем свысока
Думать (ты-то с твоим ростом точно):
Все пройдет, что было на века,
Выживет, что кажется непрочным.

Вадим Муратханов

ЗАЖМУРЬСЯ И ЛЕЗЬ

ПЕЙНТБОЛ

Выйдешь на поле — а где тут наши?
Век на забавы не скуп,
игры за играми. Я однажды
съездил в пейнтбольный клуб.

Опыта я не имел в пейнтболе,
краток был первый бой.
Вскрикивал от удивленья и боли,
пули ловил спиной,

и запотевшая маска метко
не позволяла стрелять.
На синяки мне йодную сетку
в тот день наносила мать.

Русское поле, нерусское поле.
Трава, что всегда права.
Пуля, спасающая от боли.
Дно ледяного рва.

Все эти рифмы, лайки и метки,
жгущий сердца глагол —
лишь рисование йодной сетки,
жалкий такой пейнтбол.

МАРС

Свиная борода,
блуждающие глазки.
Не ведая стыда,
без гнева и опаски
бормочет, окружив,
и за собой не тушит,
и каждого, кто жив,
в объятьях жарких душил.

Сидишь на дне зрачка,
ни в чем не прекословишь,
любимого внука
к закланью не готовишь
в накопленном тепле.
Блуждающие глазки
заглянут и к тебе,
соскучившись по ласке.

* * *

В дальний путь провожают диван.
Управляет диваном Иван.
У него телевизор и плед,
то есть полный комплект.

В телевизоре берег морской,
неподвижные птицы парят,
сослуживцы идут на парад
и жена ему машет рукой.

И колесики тихо скрипят,
навевая покой.

* * *

Всё изменилось, пока ты спал.
Съежился горизонт.
Мир, что застыл и на части распался,
глаз твой не угрызет.

Можешь роптать, умирать не весь,
можешь испытывать шок,
но, будь любезен, зажмурься и лезь
к нам в вещевой мешок.

Татьяна Вольтская

НИ ПАРАДОВ, НИ ЗНАМЕНИ

* * *

Мои сыновья не пойдут убивать —
Я спрячу их в чашу, в подвал, под кровать,
Для черного дела вам их не достать —
Ни старший, ни младший — не кат и не тать,
Оставьте мечты — украинская мать
Не будет рыдать по вине их.

Велите сражаться своим сыновьям,
Раздайте разгрузки их сытым друзьям,
В полях украинских — немеряно ям,
Где глубже — подскажет вам вещий Боян,
Поскольку слепому виднее.

Мои сыновья не пойдут на войну —
Я каждого черным дроздом оберну,
И вам не достать их, как с неба луну,
И с вами они не разделят вину,
Останется чистым их сердце:
Топтать под проклятья чужую страну
На светлом Днепре, на широком Дону
Не будут их пыльные берцы.

* * *

И о чем ты думала, разиня, —
Лишь адмиралтейская игла
И осталась от твоей России:
Растеряла, не уберегла.

Грязный лед подтаявший на Мойке,
Цепь следов вороньих под мостом.
Что осталось от тебя самой-то? —
Не сейчас. Когда-нибудь потом.

Март, тепло блаженное на лицах,
Солнце выплывает, засверкав.
Ветер. Кровь убитых украинцев —
Несмываемая — на руках.

* * *

Что же мы, недоумки, наделали,
Сколько мы загубили с тобой,
Упиваясь былыми победами,
Затевая бессмысленный бой.

Сколько счастья чужого порушили,
Сколько судеб развеяли в пыль —
Мародеры, домушники ушлые,
Созидатели свежих могил.

Это племя убийц и насильников,
Исполнителей пьяненьких нот
Ни платочек потрепанный синенький,
Ни пернатый Бернес не спасет.

Ни побед, ни парадов, ни знамени
Возле статуй божку-калашу —
Поражения и покаяния,
Больше я ничего не прошу.

* * *

У кого-то погиб муж.
У кого-то погиб сын.
Среди ям и кровавых луж
Командир говорит — не ссы.

Вот мальчишечья голова,
Смерть над нею косой — вжик-вжик,
А во рту у нее слова:
Не был в армии — не мужик.

Рыжий лес да сырая гать,
Да сожженного дома дым.
Только пить, и стрелять, и лгать —
Враг, мол, выстрелил по своим.

В разоренной чужой земле
Не-был-в-армии-не-мужик,
Как картофелина в золе,
С удивленным лицом лежит.

* * *

Ничего еще, милый, не кончено,
Нам недолго сидеть в тишине.
Чутко спит полонянка-Херсонщина
И подсолнухи видит во сне.

Ночь уставилась черными дулами,
Мелкий дождь пробегает, какмышь.
Мы с тобой не гадали, не думали
Про войну. Почему ты не спишь?

Город сыплет горячими искрами
Габаритов, негаснущих ламп.
Нас с тобой без единого выстрела
Разогнали по разным углам.

Где наш сад с пересвистом и шелестом,
Где с погасшею печкою дом?
Я не знаю, в кого они целятся, —
Только знаю, что мы упадем.

Мир кренится, дымится, качается,
И когда ты вернешься ко мне —
Знают только нарядные аисты,
Выступающие по стерне.

Марк Вейцман

СТАРОЕ ФОТО

* * *

По этим переулочкам
Морозною весной
Я бегал на «снегурочках»,
Прикрученных тесьмой.

Здесь в скверике за школою,
Где снег мочой полит,
Лежал, понутив голову,
Один космополит.

И вот с тех пор поныне я
Без видимых причин
Считаю блески инея
В сети его морщин.

И вьюга хищной птицею
Над крышами снует.
И страх со счету сбиться мне
Покоя не дает.

* * *

Снега медленный поток
Раздвигая, как гардины,
Обретает городок
Благородные седины.

Молодые тополя
Меж домов молочно-белых
Выплетают кренделя
Из ветвей окоченелых.

И прожектор, как поэт,
Из вечерней корректуры
Достает приоритет —
Городской Дворец культуры,

Где бездельник славит труд,
Пофигист кичится целью,
А трудящиеся ржут
Над эстрадной похабелю.

СТАРОЕ ФОТО

Что-то ведь все-таки в ней привлекало.
Умница? Вряд ли. Красавица? Нет.
Гибкого тела живое лекало.
Юного взора естественный свет.

Как не сгорели в безжалостной топке,
Как не пропали в остывшей золе
Старое платье — штопка на штопке,
Тоненький шрамик на левой скуле?!

Пыл этот поздний откуда берется?
Тонешь, опутанный донной травой,
Кажется, сердце вот-вот разорвется.
Вынырнешь, глянешь — и снова живой!

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ



Виталий Науменко

БЕДНОСТЬ, ИЛИ ДВЕ ДЕВУШКИ ИЗ БОГЕМЫ

Главы из романа

Среди этуалей

В начале нынешнего (двадцать первого) века, весной, в Иркутск привезли выставку фотографий прерафаэлитов. Одна фотография называлась «Две девушки из богемы».

Юный Сережа Ненашев, наш главный герой, долго стоял перед ней. Он думал о том, почему невинные девушки так похожи на ангелов. Ангельскую природу они с возрастом теряют, общаясь с мужчинами. Но что было бы: не будь мужчин? Цивилизация ангелов. Сережа попытался представить себе цивилизацию ангелов и задумчиво перешел в другой зал. Легче представить амазонок, перерезающих мужчинам горло, чем голубятню, где ангелы в перьях, как голуби, сидят и непрерывно вертят головами — так резко, как будто не желают смотреть только в одну сторону.

В музей Сережу провела одна усеянная родинками искусствоведша, и провела не впервые. Родинки эти были не столько рассыпаны, сколько разбрызганы по ее пухлому телу. В них она была идеальна. Уже не та свернувшаяся в шар, забившаяся в халат двадцати пяти годов недоучившаяся закомплексованная дура.

— Я не принимаю Леонардо да Винчи: он на казни ходил смотреть, на трупы...

Или:

— Художник Рафаэль (настоящее имя Рафаэль Санти) родился 26 или 28 марта 1483 года.

— А дальше? — спросил Сережа.

— Дальше я еще не выучила.

— А как же ты в музее работаешь?

— На полставки.

Сережа так и не переспал с ней. Разумеется, как-то они лежали в одной постели, она складывала на него то ноги, то руки, а он отталкивал их, считая, что это руки и ноги художника Морошкина, спавшего на самом деле в тот момент на кухне. Морошкину не мешала ни неудобная поза, ни грохот музыки из динамиков. Он видел своих покойных друзей, и они разговаривали с ним. Иногда Морошкин приподнимал руку и тыкал вилкой в невидимую тарелку с солеными огурцами. Огурцы росли из Земли, а сам он рос из Неба.

Балалайка Ван Клиберна

Нет, бывало, и не раз: собирались в мастерской у какого-нибудь художника, скидывались на несколько бутылок водки, хлеб и кабачковую икру. После начинался «Отдых Босха»: один забирается на стол, обхватывая его руками, второй в поисках выхода бьется лбом о железную дверь, третьего уже мутит, и он надломленно свешивается на улицу с подоконника. В туалете дерутся, точнее, толкаются за неимением свободного пространства и непрерывно спускают воду, чтобы не показаться навязчивыми. Никто никого не слушает, хотя все непрерывно и очень громко говорят.

Хозяин мастерской активно надувает лодку, на которой предлагает всем немедленно сплавиться по суровой сибирской реке. Все его, безусловно, поддерживают и обсуждают детали предстоящего приключения.

Недавний случай: при сплаве одной четверки на порогах четвертый выпал из лодки. На вторые сутки его исчезновение заметили, но вернуть человека с берегов столь далеких, как известно, не смог даже Орфей. Поэтому песня «Дембеля», исполненная после на берегу, возможно, и согрел душу покойного, так и не смогла вернуть его к жизни...

Итак, что готовит природа ее насильникам? Их немного. Они в штормовках и с рюкзаками, а против них — отсутствие магазинов, жестокие буряты и безжалостный ветер. Они достают водку из рюкзаков, поражают дикарей одним ее видом и открывают ветру опухшие лица.

Вспоминают женщин и детей, но женщин с особой теплотой. Достают консервы и долго смотрят на раздутые банки.

Но вернемся из мира туристов в те мастерские, где Сережа, бывало, жил неделями...

...Дамы в этих компаниях соответствующие. Иногда все вьются вокруг одной дамы и несут пьяный бред, она тут же находит себя центром Вселенной и восторженно не хочет ничего понимать...

На перевале «Грозный»

— Я люблю людей, но предпочитаю держаться от них подальше, — сказал Семен.

Они с Сережей зашли в знаменитое кафе на Грязнова.

— Что это у вас так спиртом несет? — спросил Семен. — Бутылку водки разбили?

— От перегара вашего.

Они уселись. Здесь досуг скрашивала любовь посетителей к себе. Зеркала отражали редких клиентов так, что они удваивались, удесятерялись... И главное, их можно было разглядывать кому ни лень. Подошла рыжая официантка, отразившись везде и сразу:

— Вам что?

— Вас, — немедленно ответил Семен. Сережа в бешенстве отвернулся. Цинизм и шутки такого рода он не выносил.

— На сколько? Час, два? Третий — бесплатно, — спокойно ответила официантка.

— Дайте нам сто граммов водки и два малосольных огурца, — пожелал Сережа (вряд ли будучи услышан), отбиваясь от огромного фикуса в кадке, который почти прищемил его к стене и заслонял обзор, создавая для юноши в тихом кафе иллюзию борделя, тем более что над его головой в зеркале отражалась небесной красоты девушка-брюнетка за соседним столиком со стаканчиком кофе и с блокнотом, в который она что-то непрерывно записывала.

— Серж, — сказал, выдержав паузу, Семен, — я тоже заметил эту пулеметно строчащую бисером фемину, которая не даст тебе спокойно поесть, даже если ты проведешь под своим любимым фикусом всю жизнь. Это не журналистка, ясно — зачем мы ей нужны. Она влюбилась в тебя, вот и всё.

— В меня? — Сережа вскочил.

— Друг мой, — вдруг очень серьезно заговорил Семен, — как только мы вошли, я получил удар тока, который чуть не сбил меня с ног. Она одним взглядом спрашивала, кто это со мной. Может быть, она меня знает, но я женоненавистник, а они это чувствуют. Я не специалист по женским сердцам, но сейчас ты для нее наживка, и скоро она подойдет.

Сережа решил перевести разговор на тему, способную отпугнуть брюнетку.

— Ты Маркузе читал? Ладно, хочешь курить свою «Приму», кури. Но Введенского ты же читал?

— Что интересно, — сказал Семен, — Введенских было два, и оба Александр Ивановичи. Я даже видел книгу, где они объединены в одного человека. Ты про какого?

Между тем Ненашев выглядывал из-за фикуса, снизу вверх на брюнетку. Как одета... Мало обнаженных мест, задрапированные же почти равны выставленным на показ. Нечто светло-бирюзовое и тут же темное. Сережа терялся: «Непростой случай. Дешевая игра в безвкусицу, но у любой игры есть подтекст».

Брюнетка закрыла блокнот и стала отпивать кофе небольшими глотками, иногда поднимая глаза.

Семен продолжал в своем духе:

— Женщина родилась из мужчины, поэтому в ней так много мужских качеств. И чем больше проходит времени, тем больше мужчина раздаривает то, что от него осталось, а они расхватывают. «Шанхайка»¹ такая: разбирайте все мужское! А мы? Мы же не имеем права уподобляться женщинам, потому что становимся смешны и отвратительны сами себе.

Проклус, Филон и Секст Эмпирик

Разделась Женя молниеносно. Сережа ничего не успел понять. И, глядя на нее, уже через секунду обнаженную, он в очередной раз, как уже бывало в таких ситуациях, поймал себя на неприятном пустотном ощущении: ну и что, голая женщина, только и всего, как в бане.

Ты только что был готов сделать все, чтоб раздеть ее, и вот — ничего, никакой тайны. Хотя (по мнению автора) голая женщина гораздо загадочнее одетой.

Женя стояла черным силуэтом на фоне окна. Она была прекрасна, но Сережа был так мучительно болен — именно болен, потому что влюбился, — что ее образ и эта комната, и эта скрипящая кровать... Дверь, которая не закрывается. Бухающие рядом бомжи. Строители, ночью в дождь роющие какую-то обширную и никому не нужную яму... Всё не совпадало между собой.

— Ты что? — спросила Женя.

— Да нет, я как лестница на небо, как дым над водой, — бодро ответил Сережа, даже вскочил.

— Тебя эти алкаши, что ли, напрягают? Если что, они у меня мигом на матах отсюда вылетят. Не бойся, я могу негромко притворяться. Я знаю: вы все любите, чтобы мы стонали, это для вас, типа, кайф. У меня был парень, как его, забыла, он всегда говорил: «Громче, громче!», а я ему отвечала: «Я что тебе — магнитофон кассетный?» Смешно же, да? Он мне: «Громче!», а я ему про магнитофон.

Женя приблизилась к Сереже. И тут он понял, что все идет как надо, она ему нравится вся — от коленок до кончиков коротких волос, вьющихся на затылке. Сейчас, конечно, быть бы чуть-чуть попьянее, ну да ладно...

Речь космополита

Поздно вечером Сережа погрузился в любимый красный трамвай, последний, судя по всему, — был час ночи, — с удовольстви-

¹ «Шанхай» — криминальный вещевой рынок в центре Иркутска.

ем предвкушая, как долго и запинаясь водитель будет объявлять: «Остановка Карла Либкнехта».

Трамвай был почти пуст. Но сидевший на соседнем сиденье художник-сюрреалист Сюриков увидел Сережу и демонстративно свесил голову, изображая пьяного изгоя, которого никто не любит. Эти его выходки были в порядке вещей, поэтому им не удивлялись. Напротив, все ему подыгрывали.

Сюриков выдавал себя за прямого потомка Сурикова, художественные принципы которого не принимал, поэтому в знак протеста и переделал свою фамилию.

Дома у него было три книжки, которые он постоянно читал и всем пересказывал. На выставки Сюриков летом приходил в валенках, а зимой — в тапочках на босу ногу. Тапочки были разного цвета. В руках — трость самого Девяткина... Рука что-то ищет в воздухе, нога западает.

Вдруг Сюриков восстал из мертвых и протянул Сереже бутылку пива.

Сережа отхлебнул. Хотя ненавидел пиво, да еще и теплое. В это время другой припозднившийся пассажир — с виду совершенно ничем не примечательный, за исключением усов и блестящей лысины, — делал вид, что едет в трамвае совершенно противоположного направления. Сюриков показал на него пальцем и сказал:

— Ленин.

Оба, Сюриков и Ненашев, громко рассмеялись. «Ленин» глянул на них с опаской и принял вид спящего.

— Я ему сделал комплимент, а он обижается, — расстроился Сюриков. — Сейчас я расскажу ему, кто такой Ленин! Расскажу, какой это был великий человек!

Сережа вцепился в макинтош Сюрикова. В это время трамвай остановился, лысый гражданин сошел, или, скорее, выбежал, потому что, по всей видимости, очень испугался Сюрикова и его намечавшейся лекции.

— Ты что это меня ни за что хватаешь? — обиделся Сюриков. — Ты, может быть, еще скажешь, что Фидель Кастро Рус — мокрая крыса?! А ведь думаешь так про себя, я уверен. Шеф, останови гроб на колесиках! А ты, — с ленинским прищуром сказал Сюриков Сереже, извлекая из штанин огромный телефон с антенной, — не звони мне больше на эту трубку.

С диким матом Сюриков выпал из трамвая. Сережа остался сидеть, глядя на свое непохожее отражение в стекле. Он никогда не ездил в пустом трамвае, и у него вдруг возникло ощущение, что это никогда не кончится: он будет ехать в этом трамвае вечно и никуда не приедет, а водитель ненастоящий.

Свободный будуар

Не будем уточнять день и час этого разговора. Он мог состояться до знакомства с Женей, после знакомства или если бы Сережа и Женя никогда не встретились.

Тетя стояла, манерно облокотив руку на рояль:

— Ты знаешь, что тело — это вместилище души? — спросила тетя, любуясь бижутерией на пальце.

Сережа только что вошел и не знал, как ответить.

— Вы сегодня в таком длинном платье. Вам идет, когда платье облегает фигуру, — сказал он.

— А что идет вашему поколению? — не унималась тетя.

— Смотреть вперед.

— Вперед чего?

— Вперед вашего поколения.

Тетя в длинном платье с хвостом горестно ударила по клавишам рояля. Звук повис в воздухе, и только потом рассыпался на ноты отчаяния.

— Как мы ждали будущего, как мы на него рассчитывали! Мы думали, человечество преобразится — через научный прогресс, через поэзию Евтушенко... И что? Вот я попала в это будущее. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что оно будет таким!.. Мир изменился, и он стал хуже. Люди стали совершенно другими. Вот ты — ты же человек без идеалов. Скажи мне, во что ты веришь?

— В Элвиса Пресли, — сказал Сережа.

— Я так и думала, — тетя в изнеможении опустилась на диван.

Сережа немедленно схватил графин и, брызнув водой на тетю, попытался изгнать ее из мира теней.

— Тетя, ваша психика безнадежно исковеркана великой русской литературой: Чеховым, Достоевским...

— Нет, — почти закричала тетя, — она не исковеркана ими. Всё наоборот... Я рождена Чеховым и Достоевским и умру вместе с ними.

— Но они уже умерли.

— Значит, и я умерла. Ты доволен? Ваше поколение заражено, как вирусом, бешенством и цинизмом! Вы же не знаете, что такое святая любовь, Тургенев, листья, которые можно отодвигать рукой, прикасаясь ладонью к лужам, тихие страстные объяснения в беседах, сумасбродство, бескорыстие... А в мое время, знаешь ли, и мороженое было вкусным, и мандарины пахли.

— Зачем вы мне это говорите? Я вам верил еще до этих слов.

— Затем, что этот усатый щеголь — Альберт — не только не влюбился в меня, но еще и потребовал кругленькую сумму за свои услуги. Альфонс он, вот кто!

— Так Альфонс или Альберт?

— Ты знаешь кого-нибудь с именем Альфонс?

— Нет. Но и с именем Альберт тоже никого.

В этот момент показывали теленовости. Актер Музыкального театра Шпильман переплывал Ангару под прицелом камер туда и обратно, при этом непрерывно исполняя оперные арии на слова Метастазиио.

— Так оставьте все меня в покое, наконец, что вы меня травите, дикари, звери, — тетя, не теряя достоинства, артистично зарылась в подушки, Сережа, в свою очередь, пошел в свою комнату сравнивать достоинства Расина и Корнеля.

Из высокорожденных

Но вернемся к Жене, о которой мы намеренно забыли. Кому в момент развития романа нужны театральные страдания тети или треп про неудачников из Дома актера? Автора оправдывает лишь сам план построения романа с барочной прививкой.

Сережа говорил, Женя слушала. Они уже могли перепихнуться где угодно и безо всякого стыда. Она старалась не ругаться, он старался не замечать ее ругательств. Мир и должен подчиняться двоим. По крайней мере, пока из него не выгонят.

Воодушевленный Сережа гулял с Женей в загородных лесонасаждениях, в одном он переплыл зачем-то озеро, потом залез на дерево и оттуда излагал любимой свои планы:

— Мы будем пить исключительно «Мартель», танцевать падеграс и падепатинер, ибо иные танцы в стране временно запрещены, играть в лаун-теннис, перекидываясь шутивными фразами. Научимся различать туманные звезды Большой Медведицы.

Женя искусственно смеялась, потому что этот бред ее не занимал, а пугал.

Именно потому, что она знала много ругательств, разговор с Сережей составлял для нее мучение — матерные слова или теряли при нем силу, или приводили его в странное отрешенное состояние.

Сережа свалился с дерева, опять переплыл озеро и мечтательно упал на траву возле голых ног Жени:

— Ты умеешь венки плести? — спросил он.

— Умею, но в них жучки заводятся.

А Сережа и не слушал уже, он говорил:

— В мире есть только два цвета: зеленый и голубой. Цвет травы и цвет неба. Человек между ними — случайность. А амбициозен он именно потому, что не осознает границу того, что ему позволено. Это его счастье. Счастье быть правым. Даже когда все вокруг не понимают его.

Сереза не учитывал, что кто-то может присвоить себе право обижать другого, лить кровь, устраивать детские концлагеря... Он был уязвим. Все люди, которые рассуждают (и рассуждают долго), рано или поздно становятся жертвами своих рассуждений.

И даже Женя постепенно начинала это понимать.

Миром управляют мужчины, а мужчинами — женщины. И нет слаще или страшнее минуты, когда женщина обнаруживает в себе свой настоящий характер.

Из кулька в рогожку

Сереза взгромоздился на допотопную ржавую карусель. Стал сам себя раскручивать, отталкиваясь ногой, и именно в этот момент услышал за спиной голос:

— Сергей Сергеевич Ненашев?

Сереза вздрогнул:

— Я.

— Здравствуйте. А я Костя.

Перед Серезой стоял лохотный высокий молодой человек в аккуратно заправленной белой рубашке и черной кожаной куртке, с располагающей улыбкой, при этом в мягкой чуть сдвинутой набок кепке, которые никто в ту пору не носил.

Он протянул руку, и Серезе ничего не оставалось, как пожать ее.

— Откуда вы меня знаете? — спросил он.

— Мы давно знакомы.

— А все-таки?

— Нет-нет-нет, вы потом припомните. Потом. И обязательно. Вы же отличаетесь большим количеством знакомых. — Сереза фраза показала уничижительной.

— Так вот, — не медлил незнакомец. — Так вот. Я предлагаю распить. Снять стресс... Предаться грезам...

В руках Кости, как по волшебству, возникли 72-й портвейн и складные стаканчики.

Костя оказался своим человеком. Через несколько минут он уже изъяснялся со всем пылом откровенности, подсев на карусель и чуть сильнее разгоняя ее:

— Сереза, вы уникальны. В вас есть то, чего нет в других людях. Вы хватаете жертву смертельной хваткой, но вместо того, чтобы задушить, просто играете с ней. Читаете ее мысли. Вам плохо, но это же потому, что никто не ценит. Я имею в виду: ваше великодушные. Ну, бабы — дуры, бабы — всегда недопетая песня, но вот тот же Семен — так называемый ближайший друг (Костя уклонился в сторону, как будто улыбнулся) — так называемый ваш ближай-

ший друг — одиозный писун, которого хорошо знают в городе, — он ведь живет только своей писаниной, а мог бы и взяться за вас, встряхнуть, поставить на ноги — человека, глубоко, мучительно страдающего — не от инфантильности своей, нет, от избытка мужского начала, который все и принимают за инфантильность.

— То есть?

— Для девочек вы друг, для мальчиков мальчик. Для воробья воробей. Кому мне за вас отчитываться? Для кого вы представляете интерес? Я знаю вас наизусть; но не знаю, каким образом такой человек, как вы, поведет себя, окончательно отчаявшись. Самоубийство — смехотворно, пародийно, жизнь — еще пошлее, тем более что мне тут вам подсказывать?!

— Костя, не знаю, откуда ты взялся, я тебя не помню совсем, пойдем, нам надо в ларек, — сказал Сережа.

В ларьке Костя заигрывал с продавщицей, пялясь на ее ФИО, прицепленное к халату.

Измученная покупателями более, чем своими многочисленными детьми, сумками и накладными, ограждаемая стойкой девушка вяло, привычно отбивалась. Костя сверкал и острил, Сережа топтался на месте. Он знал таких персонажей, как Костя (взять бесхитростное хамство Семена с посторонними), но часто с трудом мог решить, разлюбить их навсегда или раз за разом возвращаться к ним. «Это может быть кто угодно», — рассуждал Ненашев. В цепи его разговорчивых друзей возникали пробелы, которые он был не в силах заполнить.

— Мы окружены быдлом, и ничего с этим не поделаешь, — сказал Костя, выходя из ларька. — Что она видела, эта женщина? Немытую посуду, скотские ласки. Я намекал ей, что в мире есть нечто большее. Но утонченная чувственность ей неизвестна.

— Женщины — высшие существа, — возразил Сережа.

— Безусловно, Сергей Сергеевич. Но ведь есть и похоть!

— Но ведь есть и преклонение!

— Есть преклонение. А эти стервы каждый год переклеивают обои, примеряют духи и трусы, и смеются. То есть над нами смеются. Стоит им почувствовать свою власть, как они немедленно начинают презирать наше преклонение. Им только и нужен повод, чтобы сделать нам больно, наколоть на свою булавку. И оп! — ты дохлый, но с красивыми крыльями! Они коллекционируют наше невоплощенное.

У Сережи, уже готовому к долгому ответному монологу, задрезжал пейзаж. Это был Семен:

— Ненашев, Женя со мной. Сейчас же двигай в Дом актера. Хочет тебя видеть. Есть разговор.

— Прости, — Сережа пожал Косте руку. — Я сегодня не могу... В другой раз.

Приятно и полезно

О, этот город, подаренный нам с любовью за наши грехи, в наших венах течет портвейн твой, твои тополя освежают нас, не давая дышать, осыпая тополиным пухом, а в больших красных трамваях девушки прижимаются всем телом только к нам, отпихивая остальных, потому что мы слишком красивы и молоды.

Тебя кустарно, по-детски могут избить на дискотеке острова Юность, но ты встанешь и успеешь проводить подругу домой, рассыпая шутки и даря ей невинные поцелуи в самое нежное место, какое есть у нее, — в шею (или в ухо — я готов спорить только за шею и ухо, все прочее — измышления или попытки девушек сбить нас с толку). А потом можно превратить вечер вдвоем в незабываемый психологический конфликт.

Я пою гимн этому городу, потому что нигде нет такого количества красивых женщин и драчливых мужчин, ангелов и демонов, искусительниц, которые не имеют понятия, что искушают, и змей, не знающих, как больно они жалят.

Да здравствует твой единственный подземный переход на Волжской с неизвестного происхождения дедом, играющим на балалайке приемом тремоло, переход, по которому так приятно прогуляться ночью, парк, построенный на месте кладбища и всех восьми Иерусалимских улиц, где упокоились и бабушка Циля, и дедушка Абрам, восьми Иерусалимских улиц, навсегда ставших Советскими!

Я вязну в грязи твоих озер, защищаю в пустой аудитории курсовую, загораю на набережной Ангары, не смея зайти в ее ледяную воду, и вижу тех, кто летит в нее безвозвратно с чудовищного моста в глазах трамваев, чтобы исчезнуть навсегда на дне ради плюющих туда сверху, походя, условных Маши или Саши, город, рождающий, убивающий и воскрешающий нас!

Бульвар Гагарина, он же — Вузовская набережная — пивной дешевый угар. Кто-нибудь задумывался о том, как эти спившиеся уроды могут исправно производить на свет таких красавиц? Вы видели когда-нибудь, как иркутская девушка снимает тубельку и выбивает из нее камушек? Тогда вы ничего не видели и не поймете.

В те времена, когда я еще был фотогеничен, город был огромен (потом он стал сворачиваться в свиток с именами покойных). Он родил нас, брызнул нам в глаза волшебной росой, нашел в нас некоторые достоинства и привлекательность и с той же легкостью уничтожил.

Город, переживи нас, но ничего никому не рассказывай, пока мы не попросим!

2002–2012

ПОЭЗИЯ



Борис Херсонский

ШЕСТЬ ЭКЛОГ

ЭКЛОГА 1

1

Всю ночь лило, как из ведра, то же — с утра,
видно, безвестный праведник о дожде усердно молил.
Воздвигалась в небе огромная облачная гора,
накрывала вселенную, а ливень все лил и лил,
дождь лил и лил, а праведник молиться не прекратил.
Или это была пластинка, которую он крутил.
Гром громыхал, или это небесный тротил?
Река времен бурлит, со дна поднимая ил.

2

В такие дни бесполезны что гороскоп, что телескоп.
Ничего не предскажешь и не увидишь сам.
В проточной воде не отыщешь проторенных троп.
Не ругай прогноз — все претензии к небесам.
Что, засуха, надоело испепелять поля?
Ливень стоит стеной. Набрякла сырая земля.
В душе нет надежды. В море не сыскать корабля.
В голове нет мысли. В кармане нет ни рубля.

3

А хотелось бы ясности, голубизны. Тогда
редкое облачко проплывало бы в вышине.
Поля господина безнаказанно вытаптывали бы стада,
Зной вечерами спадал. Комары б досаждали мне.
В простонародных платьях работали бы на гумне
крепостные девки и пели о нашей советской стране,
или о русской империи, что одно и то же, зане
недосол всегда на столе, а пересол на спине.

4

Хотелось бы ясности, бодрых песен со всех сторон.
 Слов никто не помнит. Разве только первый куплет.
 Щебетания птиц. Хотя бы грая ворон.
 Чтобы в душах свободно веял Дух — Параклет.
 Так нет же! На концерт купите волчий билет
 Волчий вой в программе. В домах отключают свет.
 В ресторане дают сто грамм. В суде дают десять лет.
 О расстрельном списке можно узнать из газет.

5

Рифма к слову «дождь» это — «вождь», а хотелось — «вошь».
 Дождь стоит стеной, к нему повернись спиной.
 Знаешь ли ты, человек, для чего живешь?
 Слушай гром, гнев небесный, которому ты виной.
 Прими наказание свыше, не жалуйся и не ной.
 Каждой твари по паре в ковчег загоняет Ной.
 Люк последний закрыт на тяжелый замок навесной.
 К осени все умрет, чтобы воскреснуть весной.

ЭКЛОГА 2

1

в радиоточке новости в телевизоре бред и эстрада
 мимо окна пастушок гонит мычащее стадо
 коровы одна к одной буренка рыжуха пеструха
 на лугу трава во дворе дрова а в стране разруха
 но мычание не эстрада оно приятней для слуха
 хорошо почившим предкам им ничего не надо

2

совсем ничего ни многоцветья ни разнотравья
 ходят по облаку непрерывно Господа слава
 а на облаке нет цветов это вам не поляна
 пастушок на нем не поваляется спяна
 не станцует пастушка под звуки баяна
 зато везде справедливость торжество равноправья

3

идут коровы рогатыми головами мотая
 наискосок по небу летит журавлиная стая
 ящерка спит на камне не опасаясь юнната
 можно выкопать клад была бы лопата
 в колхозе дают трудодни это такая зарплата
 в библиотеке дед сидит «Огонек» листая

4

имеет смысл ехать подале или жить на земле подоле
 говорят пастушка опять принесла в подоле
 а пеструха опять отличилась теленок с двумя головами
 собкор написал в газете об этом простыми словами
 что выполняем заветы и сталин остался с вами
 время послевоенное чистое минное поле

5

пчелы летают с цветка на цветок золотится пыльца на лапках
 в сельпо рассуждают люди о продуктовых поставках
 а на лугах былинки одна к одной нарядились
 пастушок говорит пастушке для чего мы на свет родились
 с коня не свалились и в речке не утопились
 лузгали вечером семечки сидя на длинных лавках

6

коровы мычат мухи жужжат блеют бараны и козы
 мужики и бабы спят не меняя привычной позы
 время послевоенное есть и ложки и вилки
 а вот флейты не завезли играй пастушок на сопилке
 шепчи на ухо непристойности милке
 на ветке сухой неподвижно сидят стрекозы

ЭКЛОГА 3

1

Пастырь народного стада играет траурный марш на свирели.
 Пастырь сидит на холмике. Стадо пасется в долине.
 Овцы шепчутся между собой: куда мы раньше смотрели?

Сегодня мы здесь, а завтра нас нет и в помине!
 А о чем им еще шептаться между собою?
 Паситесь, готовьтесь к стрижке, или к забою.
 Овца приходит к забою, а человек — к запою.
 К спасенью идет монах извилистой узкой тропюю.
 Человечившись, стадо бредет к водопою толпою.

2

К пастырю со свирелью пришел мужик с барабаном.
 В бок барабана нужно бить колотушкой для лучшего звука.
 Простолюдины идут к усадьбе — пора посчитаться с паном.
 Не разобрать, где религия, где — наука.
 Идут мимо рощи. В роще щебечут птички
 о том, что людям пора бросить дурные привычки,
 курение, алкоголизм, междуусобные стычки,
 мужчинам не прятать от жен ничтожные нычки.
 Впрочем, слово люди пора уже взять в кавычки.

3

К пастырю и мужику пришел пионер с валторной.
 Все замолкают — ждут еврея со скрипкой.
 А вот и он пришел с улыбкой притворной,
 как известный старик со своей золотою рыбкой.
 Вот тут-то бы и заиграть, но нет — ждут дирижера.
 Овцы щиплют все, что растет, все без разбора.
 Вор доволен — он украл дубинку у вора.
 Городские трущобы не заменят степного простора.
 Штангист поднимает штангу, не поднимая взора.

4

Молодежь с гармошкой и песней идет со свадьбы.
 Простыня с кровавым пятном — ночью зарезали утку.
 Мужики греют руки у горячей барской усадьбы.
 Пионер на валторне внезапно играет побудку.
 И все просыпаются, хоть и раньше не спали.
 Белый день во дворе. Трактора цвета танковой стали.
 Овцы щиплют траву — так они и раньше щипали.
 Мальчик на трехколесном велике крутит педали.
 Никто ничего не боится — и не такое видали.

ЭКЛОГА 4

1

не мертвость и не мерзость запустенья:
здесь, разрастаясь, буйствуют растенья.
и солнышко блестит, и травка зеленеет,
и ласточка летает, как умеет,
высоко — в сушь. к земле — перед грозой.
мы вспять идем, все ближе к мезозою.
курганы — до Батыя, при Батые,
разграблены и вот — стоят пустые.
и мать-земля предвечною утробой
пугает пришлеца из-под надгробий.

2

и жизнь — чем первобытней, тем желанней,
взлетает к небу из Господних дланей.
и современность хочет быть пещерной,
и прошлое желает быть inferной —
как скорбь — глубокой, темной, безразмерной.
ты здесь один. ничто не отвлекает
от размышлений. боль не отпускает
тебя на волю, так оно привычней,
чем здоровье и счастье в жизни личной.
здесь — царствие материи первичной.

3

первичной, но живой. и разнотравье
к язычеству склоняет православье.
и древо жизни с древом смерти рядом,
твое сознание наполняет ядом.
тут — повторяюсь — рай, сращенный с адом,
влечет к себе, пугая нас распадом.
журчит родник. и шелест листьев манит
туда, где нет забот и скорбь не ранит,
куда все то, что было прежде, канет.
элегия окажется эклогой,
и древний стих уйдет своей дорогой.

4

здесь нет людей. но и в толпе их мало.
нас всех эпоха под себя подмяла.
и город не расскажет вам, как тяжек
моторов рев и груз многоэтажек.
но это — где-то там, а тут — раздолье
граничит с мыслью и чужою болью.
скорбит душа. где зренье, там незримость,
а где свобода — там необходимость,
где есть дорога — там непроходимость.
где истребление — там неистребимость.

5

Здесь птичий щебет стал разумной речью,
собою замещая человеческую,
и пение без слов здесь — шанс последний
прожить спокойный день, хороший, летний,
и — Господи! велит Твоя рука мне
быть бабочкой, иль ящеркой на камне,
гудеть шмелем, и шелестеть листвою,
и это шаг последний — быть с Тобою.
ведь все живое — люди на безлюдье.
и в изумленье замолкают судьи.

ЭКЛОГА 5

1

За чертою застройки гуляю по пустырю.
Разноцветье и разнотравье. Тяжелый пчелиный гуд.
Слушаю речь насекомых. Ни слова не говорю.
Поговори меж собою, членистоногий люд!
Скелет — снаружи, все остальное — внутри.
Бронекожа, лапки-зубчатки, рыльце в пыльце.
Для того-то и остаются пригородные пустыри,
чтобы среди сорняков размышлять о Небесном Отце.
Как зажав перед Оком линзу часовщика,
собирал Он пчелу, а потом — золотого жука.

2

Летопреломление. Оставив свой саркофаг,
 на вылет, бабочки, вперед, с цветка на цветок.
 Вот юннат с сачком, это — ваш смертный враг,
 в смысле, он тоже смертен, но к вам, мотылькам, жесток.
 Заспиртует, засушит, расправив крылышки на доске,
 определит ваше имя, заглянув в каталог,
 жуки-олени водятся в ближнем дубовом леске,
 трудно поверить, что все это создал Бог.
 Он велик на небесном троне и в былинке на грешной земле.
 в машинке пишущей на канцелярском столе.

3

Ангел ангела по пословице видит издалика,
 но для нас их царство незримо, всем невидимый мир.
 Вместо овец на небе пасутся белые облака,
 Пастырь Добрый гораздо лучше, чем злой командир.
 Летом лучше вставать ни свет ни заря,
 пока не поднялся непоправимый зной,
 и взору открыт затерянный мир пустыря,
 и ветерок шелестит, легкий, сквозной.
 Речь растений, впрочем, как и язык людей,
 жива движением воздуха, будь ты эллин или иудей.

4

Со своим уставом не суйся в чужой пустырь.
 Зеленая ящерка прошелестела в траве.
 Человек здесь неуместен, этот угрюмый хмырь,
 тяжесть на сердце, несусветный бред в голове.
 А лучше б на сердце — нежность, а в голове мечта
 о том, что весь этот мир — атомы и пустота.
 В мнении бабочка, в мнении жук-носорог,
 в мнении этот пустырь и вдали — новострой.
 Но чье это мнение? Не будь к Творению строг.
 Лучшее за морями, лучшее — за горой.
 Худшее где-то там, где рано сгущается мрак,
 где после вечерней поверки всех загоняют в барак.

5

Слишком рано. Покуда ты гуляешь один,
с горбатым носом и слишком высоким лбом.
Чтобы быть слугою, не нужен злой господин.
Не нужен рабовладелец, чтоб стал человек рабом.
Что херувимов собор, что насекомых синклит,
что обреченный пустырь, застроят его через год,
что идеи на выбор — Платон или Гераклит?
Что дольняя роза и гадов подводный ход.
Все это всего лишь предлог для стихотворных строк.
От звонка до звона колоколов нам отмерен срок.

ЭКЛОГА 6

1

Овечки Господни, мелкие белые облака!
От таких дождя не дождешься, скуден летний настриг.
Божья рука управляет облаками издалека.
У Бога есть план, но я его не постиг.
Для Него тысячелетие, словно канувший миг.
А туча — рева-корова-дай молока,
прольется в сухую землю, и разольется река,
и затопит прибрежные села, и зайчики в лодку — прыг,
вывози нас, Мазай, мы любим тебя, старика.

2

Ты нас не бьешь ни зимой и ни летом — шкура плоха.
Шубу сошьешь, а шубе той грош цена!
Шапку сошьешь — посыплется через месяц труха.
Мы линиям летом и это — не наша вина.
Река разлилась и течет, страданием полна.
Вода и сама — рыданье, потому к рыданиям глуха.
И снова — ливень — стоит водяная стена.
На грозовую тучу не найдешь пастуха.
Она громоздится, гремит, ничего не слышит она.

3

Вот крыша плывет, на крыше — гнездо, а в нем
растерянный аист озирается по сторонам.
Где была деревня — водохранилище, водоем,
Ветер гонит волны. Остается плыть по волнам.
Чем гореть огнем, мы лучше в воду нырнем.
А что в глубинах, то безразлично нам.
Жили на суше, теперь — вода, ничего, проживем и там.
Вот церковь плывет, ее всегда сравнивают с кораблем.
Был приказ святым — разойтись по своим крестам.

4

К чужим городам не прибьются нам, мужикам.
Где у нас колокольня, там у них — минарет.
Лошадей не любят, отдают предпочтение ишакам.
Изображенья — узор, сделанный под трафарет.
В нем заложен какой-то смысл, но это для нас секрет.
У нас — письменный стол, кабинет, телефон, портрет.
Только и смотрим, что бы прибрать к рукам.
О новостях узнаем из допотопных газет.
Но вот и потоп, и нас несет к чужим берегам.

Дана Курская

ЗА НОВЫХ НАС

* * *

для мертвых есть свои кинотеатры
кинопроектор светит через лед
хрустального слепого объектива
картинка движется. сидим, разинув рот,

вцепившись мертвой хваткой в ручки кресел
и пар идет из этих ртов немых
живой сюжет нелеп, но интересен
ведь на экране вовсе и не мы, —
а так, проказы матушки-зимы

вот в кадре неуверенное тело —
нет, не мое. мелькает киноплёнка
липома, лимфостаз и синусит
оно способно выносить помои
способно и побои выносить,
но не способно выносить ребенка

такой вот беспросветный пустоцвет
пускай себе цветет на адских куцах
рожь во спасение бывает прощена
а слева в кресле мертвый мой сосед
кричит во тьму. полегче, малохольный

картинка движется. а вот еще тела
и в кадре очень мертвые солдаты
чужие множат мертвые тела
им нет числа. но армия не наша

нет, не про нас, мы смотрим чей-то фильм
здесь инеем покрылся теплофильтр
и комната уже пошла на убыль
так вот каков лучистый колчедан
геолог собирает чемодан,
жену целуя в сомкнутые губы

не мы решаем неба синеву
 не мы решаем, кто кого играет
 глазницы мертвых смотрят наяву
 на этот дом, в котором я живу
 точнее, дом в котором умираю

в апреле будут фильмы поживей
 но что там крутят вечером сегодня?
 а можно это будет всё про нас?
 как будто не падёжный род червей,
 а впрямь такие сырнички господни

* * *

Денису Липатову

Когда мы все умрем за одного
 (хоть в библии клялись, что всё иначе),
 над миром распылится вещество,
 когда не станет в мире ничего,
 поеду я к Липатову на дачу.

На дачу показаний? Что вы, нет.
 Не будет больше следствий и полиций,
 а будет чуть прохладный синий свет,
 и будет одуванчиков букет,
 и будет тишина на наших лицах.

И мы, конечно, водку — высший класс
 в пустом магазине хапнем без оплаты
 и будем пить за этих новых нас,
 с закуской тоже будет всё нормас.
 «Открой консервы!» — скажет мне Липатов.

Наверное, потом случится то,
 которое случилось у Адама,
 когда он скушал что-то там не то,
 и вынужден был выйти на плато
 из светлого Эдема с этой дамой.

И вот они друг друга обрели,
поскольку нет другого варианта.
Единственные жители Земли.
Под вздохи их горели все кремли,
из тел земных сбегали арестанты

и дымом поднимались в небеса.
И это был конец, конечно, света,
но и начало. И росли леса.
Иплыли реки. И, открыв глаза,
Липатов мне протянет сигарету.

...На самом деле всё, конечно, бред.
Не будет дачи, и не будет просто.
Не будет одуванчиков букет.
Отныне каждый понесет ответ,
поташит крест свой прямо до погоста.

Такой грядет финал — увы и ах,
и по дороге вряд ли вас увижу.
Поэтому не будем о мечтах.
Ведь каждый будет в собственных местах.
Я — под Москвой. Липатов — где-то в Нижнем.

Мне сладостно в терновом том кусте.
Здорово, смерть. Ну где там твое жало?
Со мной остался чайник на плите
и три морские свинки в темноте —
единственное, что меня держало.

* * *

Победит всех врагов и прочих
только тот, кто за них в ответе.
Серафима звонила ночью,
говорила, что будет ветер.

Эсэмэснул под утро Дима,
рассказал, что курил каннабис.
Я здорова и невредима,
потому что лечу в Челябинск.

Если Родина — это важно,
то она у меня смешная:
старый двор, серый ряд гаражный,
заводская и проходная,

детский вкус пирожка с картошкой,
первый зуб со второй попытки,
с голубым ободочком брошка,
подфонарный сугроб с открытки,

милый гопник кричит: «Родная!
Угости-ка ты сигаретой!»
Я другой-то страны не знаю —
загранпаспорта так и нету.

Потому что я верю в чудо, —
что закончится всё однажды.
Рюмку хлоп, запивать не буду.
Лучше утром накроет жажда.

А кукушка пускай кукует.
Мой висок слишком тверд для пули.
...Город темный, но он ликует,
потому что его вернули.

Поднимается столбик ртутный
к знаменательной этой дате.
Чья-то мама звонила утром,
Сокрушалась, что я предатель.

* * *

Потом мы оба сдохнем в гараже —
согласно предсказанью дяди Славы.
Четвертый двор на шиномонтаже,
затем шлагбаум, поворот направо.

Смотри, какая тьма грядет на нас.
Ты скажешь — это тучи над домами?
Железный бог, безумен и безглаз,
стальные крылья выпростал над нами.

Но мне уже не страшно. Наливай.
Давай мы сами выполним работу
убивших предпоследний наш трамвай,
теперь за нами держащих охоту.

Мы не сдадимся в этот плен весны,
где солнце навсегда прикрыли шторой.
Я патриот чудной своей страны,
но не совсем вот этой, а в которой

мы так легко смеялись во дворах,
когда цвела сирень, и пахло пылью.
Мне было восемнадцать в тех мирах,
и у меня и честь, и печень были.

И русский рок тогда еще был наш,
а Крым не наш, и островом эпохи
тех дней остался только твой гараж
и подпись дяди Славы «Все вы лохи!».

Здесь больше ничего не зацветет,
здесь больше ничего не запылится.
здесь каждого настигнет свой черед,
для каждого трамвая — свой убийца.

Но мы еще успеем по сто грамм,
пока в гаражных стенках нету бреши.
...Когда гуляли — помнишь — по дворам,
ты говорил мне: «Я тебя повешу».

Юлия Пикалова

ГОРЯТ ЛЕСА И ГОРОДА

РАВНОВЕСИЕ

блаженно жмурясь, держишь мир в горсти
а что с тобою будет через миг?
ты думал, равновесия достиг,
когда ты равновесия достиг?

мир замер
урожай полночный сжат
не шелохнется шелк озерных вод
но звезды так отчаянно дрожат,
что кажется — низринутся вот-вот

РУИНЫ РЕЧИ

Я трамвайная вишенка страшной поры...
О. Мандельштам

я озираюсь в руинах речи
глагол военщиной изувечен
мне с ними — не о чем, незачем, нечем
вопиющего глас

всюду нероны поют горение
в ресторанах post-covid столпотворение
наличие глаз не гарантирует зрения
в Европу течет газ

где вы, братья мои и сестры
куда безумный трамвай несется
он битком, кто спрыгнет — спасется
конечная остановка — фарш

мы не спасли ни себя, ни слово
 солнце мое, ты выйдешь снова?..
 ви розумієте, про що мова
 вон на конечной — сироты, вдовы
 маэстро, урежьте марш

ПОЖАРЫ

горят леса и города
 консерватории музеев
 вокруг толпятся как всегда
 бездельники и ротозеи

бездарных блогеров орда
 бездумных фолловеров орды
 горят леса и города
 горят беспомощно и гордо

мой шарик голубой в огне
 переливается багрово
 в дозоре я и мнится мне
 огнеустойчивое слово

не эта блогерская чушь
 не лежковерные ресницы —
 второго тома мертвых душ
 огнеупорные страницы

ПРИВЕТ

мы же писатели сука каторжники пера
 А. Цветков

то ли мир довертелся то ли в лаборатории
 бог-второкурсник нарушил баланс зла и добра
 долг наш теперь последний фиксировать крах истории
 мы же поэты сцуко каторжники пера

белые хризантемы вспышками хиросимы
 распускают над шариком дикие лепестки
 к бою братья-поэты встретим конец красиво
 сделаем из сахара сахарные пески

здесь без конца историю воссоздавали заново
только рисковей на каждом витке и злей
вышли в финал так падай пожарный занавес
заизолируй зарево и залей

чтобы дурной пример для других галактик
не подавали пора пора на корню
чтоб неудачных лабораторных практик
минимизировать выхлоп и пачкотню

лидеры сверхдержав рухлядь дерьмо никчемность
плачут не то нажав мир отгорел на треть

видимо мы и есть те самые люди в черном
всё нипочем нам лишь бы запечатлеть

и разлетаются фейерверком обломки
шарика голубого крепкой земной коры
свет напоследок дальше будут потемки
вот и узнаем как выглядят тартарары
вот и узрим предсказанья певцов отпетых
и подберем антоним к святая святых
и второпях из слов уже не распятых
в преткновения знаках всяких там запятых
соорудим нетленку последняя ночь помпей
дань отдавая прощальную языку
чтобы однажды эксперт из кассиопеи
мучаясь долго всё же прочел
ку-ку

Галина Нерпина

В БЕЗЫМЯННОМ ГРЯДУЩЕМ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

это путь твой в тыщу ли
растилается в пыли
на обломках в лихолетье хризантемы расцвели

не припомнить имена
лишь китайская стена
ночь рассыпанные звезды светляки и семена

пламя вьюжное в былом
стало матовым стеклом
оплывает лунный камень в изголовье ледяном

что дается по судьбе
не сыграешь на трубе
тихий свет любви забытой приближается к тебе

высыхает бирюза
там где капнула слеза
иероглиф полустертый и закрытые глаза

* * *

ветер черные дупла развеет
с ошметками туч

смуглый отрок бредет по аллеям
слезами горюч

милый саша — под утро
не стихнет пурга
это мы под полтавой зачем-то кричали ура

в безымянном грядущем
остались сума да тюрьма
чаадаев считает копейки и сходит с ума

НОЧЬ

Тиха украинская ночь...

А. С. Пушкин

...одна звезда сверкнет в углу
и вновь волна накроет
и разворачивает мглу
изнанкою сырою

весь этот морок эту взвесь
глотай без перерыва...
как губительно как тихо здесь
от взрыва и до взрыва

* * *

И планета на планету
натыкается в потемках,
натыкается в потемках,
и вздыхает и скрипит...

Ничего на свете нету —
лишь недобрая поземка,
лишь глубокая подземка,
только ужас, только стыд.

Александр Вейцман

ПАМЯТИ МЗ

1 СЕНТЯБРЯ 1986

Почти семь лет. Тень ранца. Моросит.
Смрад гладиолусов. Спокойная на вид
Надежда Ф. Колонны и решетки.
Завхоз. Ступени. Фото с Зоей К.
Гул старшекласников. Арпеджио свистка.
Осанка швабры. Ну, и зад какой-то тетки.

Вот так оно случилось. Так оно
вписалось в память и вошло в бородино
отдельных снов вдоль пушек новой яви —
убогой школой и, естественно, страной,
где найденный лирический герой
слагает песни о другой державе.

* * *

И вот она взошла, товарищ, верь,
и каждый вроде рад.
Им было всем за двадцать, а теперь
на вид под пятьдесят.

Теряясь в прилагательных, звезда
с квадрата потолка
роняет свет без вымысла туда,
где только тьма пока.

И каждый, наслаждаясь этой тьмой,
устало повторит,
что хрен с ней, с появившейся звездой:
пускай себе горит.

ПАМЯТИ МЗ

Где пальма на скале, а корка льда
под сумерками, — ты, отныне в белом,
не первая, ушедшая туда,
оставившая хор без слов и мела,
несешь с собой листки календаря,
чей каждый день — второе января.

Что б ни писал поэт, печаль и даль
привычной рифмой сокращают дольник,
поэтому твоя горизонталь
позволит сохранить не только вторник,
но и количество шагов на полпути
меж Гарвардом и, скажем, МИТ.

Что кончилось со смертью? Беглый взгляд
вполоборота, свет в углу прихожей,
цветок, однажды красивый наряд,
и голос, на другой столь непохожий,
что формула надмирной глухоты
вне всякого сомнения есть ты.

Нам с детства объясняли: Бог в душе,
а заодно — в твоём карандаше,
каким опишешь, он, литературный,
таким и будет, и такой он, Бог,
каким полуагностик видит слог,
назло глаголам гроба или урны.

Да, пальма на скале — и да, ты там,
где будущее в прошлом, а вискам
неведомы седины и мигрени,
несешь листки, а с ними — доброту,
пройдя, казалось бы, полуверсту, —
несешь и не отбрасываешь тени.

И дальше — не стена, не край земли,
а сквозь онкологическое «пли!»
калитки скрип, и ей, полуоткрытой,
не привыкать к гвоздям поверх чернил,
да и сейчас Вергилий начертил:
«Nel mezzo del cammin di nostra vita».

Елена Тверская

ДЕННО И НОЩНО

* * *

Вышел месяц, вышел ясный,
льет на землю свет, как масло,
словно в бледно-желтой маске,
сбоку две завязки.

Месяц длинный, карантинный,
по традиции рутинной,
ты ответь мне, друг прекрасный,
скоро ль снимем маски?

Скоро ль встретимся на воле,
в чистом поле иль в застолье,
с милыми друзьями всеми?
Или ты не в теме?

Да и с теми дорогими,
кто дорогами другими
ходят и порой ночью
снятся нам с тобою?

Как они совпали точно —
те, кто нас любили очно,
и кого мы любим — денно
и, как видишь, ночью.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Умрешь и напишешь в Фейсбуке:
«Я умер». И тут же в ответ
получишь в холодные руки
сердечек и слезок букет.
И целых три дня из объятий
не будет твой блог вылезать,
и мертвому, мертвому —
в чате
придется тебе отвечать.

* * *

Дождь идет! Небесна сила —
это все-таки вода!
В детстве бабушка учила:
«Дождик, ты идешь куда?»

Заварю чаёк погуще,
дождик пуще, ну и пусть!
Дождик, пуще, дождик, пуще,
я промокнуть не боюсь.

На меня глядят со снимка
во все карие глаза
папа с бабушкой в обнимку,
как иные образа.

Жили-были, были — сплыли,
дождик, дождик, ты — вода.
Папа с бабушкой любили,
чтоб хватило навсегда.

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ



Алла Дубровская

МОСТ

Этюд

Если бы Францу Кафке довелось пожить в нашем городке, он, возможно, написал бы роман «Мост». В этой железобетонной двухъярусной конструкции заложена какая-то метафизическая сила, стягивающая скалистые утесы провинциального Нью-Джерси с мерцающим в вечном мареве Манхэттенем. Одна из молодых поклонниц Сэлинджера вспоминает об их прогулке по берегу Гудзона и о своем восхищении открывшимся величественным видом сооружения, протянувшегося над рекой. «Постарайтесь не говорить очевидные вещи», — осадил ее писатель. Представляю смущение бедняжки. Первый приступ ужаса перед внезапным обвалом и падением в Гудзон герой рассказа Чивера испытал, проезжая именно через «Джордж», так любовно американцы зовут мост Вашингтона. Наверняка существует множество и других упоминаний этого строения. Было время, когда мост часто мелькал на страницах нью-йоркских журналов: то в тумане, то в ночных огнях, то в лучах заходящего солнца. Никаких излишеств, строгость форм и торжество инженерного расчета. Мост-пуританин, мост-трудога, скромно уступивший золото калифорнийскому рекордсмену. Пока в городке не понастроили высотных домов, мне был виден из окна его стальной пилон. Сейчас о его близости напоминает гул вертолетов, сливающийся со стрекотом газонокосилок — ненавистная какофония американских городков. Когда-то мне казалось, что эти вертолеты походят на «стрекоз смерти» своим окрасом и проворностью, с которой они кружили над Гудзоном. Их сменили грохочущие в небе неторопливые тяжеловесы, впрочем, и сам мост сейчас забит потоком многоколесных мастодонтов, движущихся словно то с водопада, то на водопад.

Если подойти к мосту поближе на самый край утеса со стороны нашего городка, то можно увидеть голубое, или серое, или черное ночное небо в гигантской воздушной арке его пилона. Иногда оптический обман помещает туда облачко, отбившееся от стада кучевых облаков, или самолет, плавно разрезающий синь над Гудзоном.

Пару раз я прошла по этому мосту: первый — из любопытства, второй — не помню зачем, но помню свое волнение, почувствовав легкую вибрацию под ногами. Мост как будто дышал, жил своей загруженной жизнью. Рядом со мной все мчалось и грохотало, включая велосипедистов, с которыми приходилось делить и без того узкую пешеходную дорожку. На какое-то мгновение мне удалось

остановиться и, отогнав испуганную мысль, посмотреть вниз на чешуйчатую рябь Гудзона. Мосты издавна облюбованы самоубийцами. Говорят, первенство принадлежит калифорнийцу, броситься с которого приезжают даже из Японии. У нас эту проблему решили просто, натянув заградительную сетку над перилами, которая, кроме всего прочего, закрыла вид на долину Гудзона и нижний Манхэттен. К тому же здесь все время что-то ремонтируют, прокладывают, подвешивают или снимают, и вблизи все это напоминает цех какого-то предприятия, работающего над сохранностью величественного замысла творцов, имен которых я не могу запомнить. Проход по этому цеху, висящему над Гудзоном, несравним с прогулкой по мостам покинутого мною города, красота которых нет-нет да и всплывает в памяти. Возможно, я бы так и не полюбила эту воплощенную победу прагматизма, если бы не жила у реки. Во время одной из прогулок вдоль берега, обсыпанного гигантской базальтовой крошкой, мне представилась знаменитая переправа Джорджа Вашингтона через Гудзон под покровом ночи: злобная река, готовая поглотить людей, набившихся в шлюпки, надвинутые на лбы треуголки, развевающиеся по ветру косицы.

Это произошло в том самом месте, над которым высился растянувшийся пролет моста. Как они взбирались на отвесный прибрежный утес, тащили за собой орудия, отступали под напором англичан, отвоевывали каменистые берега? Сейчас здесь мирно пасутся канадские гуси, промышляют крикливые чайки, многочисленные семейства поджаривают на грилях сосиски. В такие моменты в голову приходят простые и ясные мысли: надо принять все как есть. Сейчас и здесь. У кого-то есть пирамида Хеопса, где-то стоит Эйфелева башня, а у нас пусть будет этот мост, соединяющий два штата в самом узком месте Гудзона.

ПОЭЗИЯ



Игорь Иртеньев

ИЗ НИОТКУДА В НИКУДА

* * *

Давным-давно еще когда-то,
В далекой юности года,
Прошел я точку невозврата
Из ниоткуда в никуда.

Не говоря худого слова,
Ее оставил за кормой,
С тем чтоб туда вернуться снова
Уже на финишной прямой.

* * *

Не гляди исподлобья так хмуро,
Хоть и близок прощальный трындец.
Не такая уж дура культура,
Да и штык не такой молодец.

И пока еще жизнь теплокровна,
Как бы ни было гадко во рту,
Мы еще, блядь, воспрянем духовно,
Мы еще наберем высоту,

На такую вершину взберемся,
Что лишь духа титанам под стать.
И с нее от души навернемся,
Как умеет лишь Родина-мать.

* * *

Не осуждаю подневольный люд,
И лично мне покой милее воли,
Которая не строгий абсолют,
А типа вольный ветер в чистом поле.

Пускай ты даже и на поводке,
Но ничего зазорного в том нету.
Вопрос, в чьей он находится руке —
Вот что сегодня важно для поэта,

А там уж бог, как говорится, даст,
Что вроде бы сечет за нами в оба,
Хотя в него я верить не горазд.
Или, по крайней мере, не особо.

* * *

Родился я в Крыжополе,
Что в принципе хардкор,
И, как березка во поле,
Живу с тех самых пор,

На жизнь не шибко жалуясь,
Да некому к тому ж,
Но за народ печалуюсь,
Аж мочи нету уж —

Земля под ним качается,
Но, Господом храним,
Никак он не кончается,
Что ты ни делай с ним.

* * *

Иного нет уже пути
У нас, по сути,
Во всем сумели мы дойти
До самой жути.

Чтоб по челу холодный пот
Катился градом,
Чтоб малым выглядел Пол Пот
Дитем с ней рядом.

Чтоб и представить бы не смог,
Хотя б отчасти,
Я, накатавший столько строк
Об этой власти.

* * *

Товарищ, выпьем за свободу слова,
Не чокаясь и залпом, чтоб она,
Когда-нибудь сюда вернулась снова,
Дабы Россия вспряла ото сна,

А чтоб быстрее время пролетело
И легче оказался этот путь,
Имеет смысл и за свободу дела
Законных двести грамм принять на грудь,

Да рукавом занюхать напоследок
Фуфайки потной, мать ее етить.
Хороший повод нынче слишком редок,
Чтоб так его бездарно пропустить.

* * *

Этой жизни эпизоды
Приближаются к концу,
Пробил час ступить под своды
Мне к небесному Отцу.

Что могу ему сказать я —
В красноречье не мастак?
Что все люди типа братья,
Знает Он давно и так.

Список заповедей тоже
Представляет Он вчерне,
Подскажи хоть, святой Боже,
Чем Тебе потрафить мне?

Благодати я взыскую,
Неотесанный пенек,
Дай наводку хоть какую,
Хоть бы косвенный намек,

Пусть хоть малостью бы самой
И понятной лишь двоим,
Чтоб твой замысел упрямый
Как-нибудь совпал с моим.

Виктор Есипов

МЕЖ МИРОМ И ВОЙНОЮ

* * *

Это двор, в котором коньки отброшу,
каждый день выхожу в него из подъезда,
здесь с утра ветерок кроны лип ерошит,
жизнь своя течет, словно месит тесто.

Двор обычный, без турников и корта,
без ваяний гипсовых двор московский,
этажа с седьмого два-три аккорда
донесутся — прислушаешься: Чайковский.

Поливает кто-то цветы из лейки,
кто-то мячик бросает щенку-грифону,
здесь и я сижу порой на скамейке,
говоря с тобою по телефону.

Я в делах житейских опять в пролете
и опять не смыслю в них ни бельмеса...
Чья-то кошка греется на капоте
не остывшего мерседеса...

* * *

Опять с утра ни ветерка,
и вижу, за ограду глядя, —
еще ни желтого листка
в березовых поникших прядях.

Внизу репейник и осот,
природа любит парадоксы —
в саду гортензия цветет,
и рядом лиловеют флоксы.

Картинке мирной вопреки, —
ревя, проносятся над лесом
из Кубинки штурмовики,
как будто гонятся за бесом...

Машина катится, пыля,
к шоссе дорогой полевой...
И будто замерла земля
опять меж миром и войною.

* * *

Славно все сложилось вроде,
хоть Предтече ставь свечу,
на турецком самолете
завтра в небо улечу.

От Покровки, от Полянки,
от гнетущих новостей,
от бессовестной подлянки
демагогов всех мастей.

В банке выдана капуста —
сколько дали, то и есть...
Расставаться будет грустно
с остающимися здесь.

Ветра с дождиком братанье,
темно-сизый окоем,
голубочка воркованье
где-то рядом за окном.

Эти окна, эти крыши,
как в трубе журчит вода —
не увижу, не услышу,
не забуду никогда...

Виталий Мамай

ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ

ВЕРМЕЕР

Утро раскрывается с легким скрипом,
словно старая коробка с красками.
Здесь и безмятежный ультрамарин
левантийского побережья,
и акварельность голубого неба,
и серый металл
типографии «Едиот Ахронот»,
и красный поезд, бегущий на север,
и пронзительно-желтый экскаватор
среди барханов большой стройки...
Бессмысленная громада цементного завода
кажется почти изящной и невесомой
в нежно-персиковых рассветных лучах.
Живопись обещает жизнь вечную
даже самой мертвой из натур.
Всякая маленькая улочка
каждый день тайно ждет
своего Вермеера
и засыпает к полуночи,
не дождавшись.

ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ

Рассвет приходит вмиг, как подожженный спичкой,
с мансардного окна стекает темнота.
Так тихо, что слышны под крышей черепичной
хозяйские шаги соседского кота.
Такие чудеса теперь вполне нормальны.
В окне и в тишине ложится даль к ногам,
и солнце вверх идет... Но прилетают майны,
салятся на кусты и поднимают гам.
Ты смотришь метров с трех на этот брачный танец,
на старый добрый двор, на новый дивный день,
стараясь отличать синичек от нектарниц,

и привыкая вовсе не наблюдать людей.
 Соседский кот устал, зевает, засыпая.
 Он чужд твоих наук и прочей суеты.
 Ему и невдомек, что под окном папайя,
 плюмерия, гранат, какие-то цветы...
 Что ж, прежде ты и сам не шел рассветным татем
 смотреть на птичью жизнь через квадрат окна.
 Пожалуй, ты теперь естествоиспытатель.
 Такие времена. Такие времена.

КАСАБЛАНКА

Яков приходит, как цапля — худ, голенаст и важен,
 кипа держится чудом среди смоляных кудрей.
 Сгусток энергий, бьющих из неизвестных науке скважин,
 он возникает в дверях, даже если не раз спроважен,
 как часовой, как бифитер, поставленный у дверей,
 будто бы крест на личной твоей голгофе,
 напоминая о бренности цели, тяготах на пути...
 В смуглых руках два стакана с восточным кофе.
 По этой части гость — дока, эксперт и профи.
 И остается смириться. И пригласить войти.
 С точки зрения Якова, ты необычный белый,
 нетиповой проект, не доктор, не программист.
 Белый может прожить здесь полжизни, но, что ни делай,
 тот, кто приехал с севера, рыжий и светлотелый,
 в этом извечном пекле едва приемлемый компромисс.
 Белого нужно учить левантийской тоске и лени,
 маленьким радостям, сложным вещам о добре и зле,
 кодексам чести и нечисти нескольких поколений,
 выросших в Касабланке на Аль-Ясире ли, на Компьене —
 в лучшем, по мнению Якова, городе на Земле.
 Белый не ведает ни Рамбама, ни Баба Сали,
 музыка у него другая, иначе звучит иврит,
 белый читал слишком много того, что философы написали...
 Белый едал, наконец, картошку, жаренную на сале.
 Яков дипломатично об этом не говорит.
 День потихоньку гаснет сказочной старой лампой,
 солнце краснеет в тучах, как уголек в золе,
 если смотреть из Яффо — прямо над Касабланкой,
 лучшим, по мнению Якова, городом на Земле.

М-03

День, раскадровка. Прошлая зима,
 проселки и поселки, холод, сырость,
 туман, подслеповатые дома...
 Не то что память — вечность покосилась
 и залегла в тенях лесополос,
 и вместе с нею то, что не сбылось,
 что можно бы, но поздно, не найти...
 Темнеет к трем, глаз выколи к пяти,
 бензоколонка, свет, рекламный щит,
 знакомый мир безудержно трещит,
 и кажется, что с ним трещит аорта...
 Нет, поздно. Клерки смотрят паспорта
 и пропускают странников в портал,
 в разверстые врата аэропорта.

THE BEST...

Кучка туристов гудит неведомо на каком,
 море трогает берег ласковым языком,
 здесь ты провел полжизни, все кабаки кабаком,
 с вечным Синатрой, поющим где-то под потолком
 The best is yet to come.
 Как Мефистофель, в зеркальном баре не отражаясь,
 рядом со стойкой сидит хозяин, седой аджарец,
 официанты его как огня — раз, два, упали, отжались;
 венские стулья, Европа, похищенная быком.
 The best is yet to come.
 Вот бы стареть тут, себя не чувствуя стариком.
 The best
 is yet
 to come.

Заир Асим

ТИХОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

* * *

загнутый уголок страницы
как тихое воскресенье
случайный хохолок недели
лишний кусочек жизни

этот чудесный вывих
важнее безмолвной книги
как маленькое стихотворение
бунт плоскости

* * *

Жаркая роза, прохладная сирень.
Это и есть май.
Легкий, пустой, быстротечный.
Здесь было другое место.
Мы долго искали себя и нашли,
потеряв остальное, например
поиск, жажду, необузданность.
Ночью ладони пылают.
Прикасаясь к стеклу,
к тонкой плоти дождя,
радуешься хрупкому холоду.
Окна распахнуты.
Город шумит, как река.
Жизнь уже не наживка.
Спи, молчи и танцуй.
Ветер поймет.

* * *

Лето замедляет.
Солнце сияет сквозь дерево,
сквозь быструю листву.
Сияние сливается с бурлением звуков.
Знакомые лица.

Медитация соучастия.
Никто никого не пытается опознать,
увидеть или окликнуть.
Все видят только лето,
ветер крон, платьев и дней.

КЛАДБИЩЕ

В детстве, когда приезжали на кладбище,
я смотрел на лицо папы
и воспринимал все через его выражение.
Позже я стоял над могилой и думал,
что там происходит с телом.
Остались глаза, выпали волосы,
истлела одежда.
Теперь мне это известно.

Время уничтожает все символы.
От полумесяца остался клык.
Мужчина, забывший о смерти,
как путник, потерявший дорогу.

Земля холма, где лежит бабушка,
похожа на ее последнее лицо.
Прекрасен узор сухой,
потрескавшейся почвы.

НОЧЬ АНТОНИОНИ

Ослепительная ночь Антониони.
Черный костюм мужчины
в коридоре больницы, мысль о смерти.
Женщина без ума от собственной красоты,
от чувственности, которую он должен познать.
Белый, пронзительно белый день
сквозит отовсюду, как нетронутый снег.
Холодно. Медленно. Тихо.
Минуты превращаются в запутанные следы.
Линии стен, полумрак кабинета, темное безмолвие.
Она ненавидит насилие, предотвращает, увлекается
и бежит вдоль таинственного забора.
Кадр мерцает прутьями.

Ее не поймет мужчина, пойманный безразличием.
Смех, музыка, праздник людей,
везде ее преследуют верность и ревность.
Чего же он хочет не от нее?
Чарующие сумерки сгущаются,
наступает безумие ночи.
Приглушенное отчаяние, игра света и тени, лицемерие дождя.
Сюжет создает контраст.
Изгнание красоты и уют забвения.
Они стоят в поле, между ними просвет, рядом два дерева,
формой отражающие их суть:
одно изгибается, второе прямое.
Боль и надежда. Рассвет и возвращение.
Поцелуй на холодной земле.

Владимир Иванов

СКРЫВАЙ, ЧТО ТЕМЕН

КИТАЙКА

Грешно губить, когда приносит —
Величиной с два кулака,
Такое на макушку сбросить,
Всяк заорет: «О, эврика!»

Во славу муссов и варений,
Ликеров и прохладных вин
Шумят плодовые деревья
И не торопятся в камин.

Дичок, притихший на отшибе,
Заглохший «золотой налив»,
Предвидя скорую погибель,
Задумчив, как иероглиф.

Он тень бросает на розарий,
Он место занимает зря,
Ни душ, ни дум не потрясая
И озарений не даря.

Лишь двое граждан без прописки
В выдавших виды паспортах
В себя уходят по-английски
И гордо курят на кортах.

Довольны тем, что занимать им
Уже не к спеху лишний нал
На кильку рижскую в томате,
Печенье «Старт», сырок «Волна»...

Есть чем заесть в родном пейзаже,
Пусть кисло так, что свет не мил,
И пусть глубок в стволе пропил,
Но хватит сил поднять стакашек
За наше все, за все за наше!
Которым Пушкин раньше был.

* * *

Мы в розной плавали воде
Околоплодной,
Но, разных, нас белиберде
Учили сходной —

Где, пред кем ломать картуз,
Чалму, папаху...
Как выбирать для брачных уз
По зодиаку.

Чему еще? Да ничему —
Делить наследство,
Впадать по слабому уму
Из детства в детство.

Кто — кто, кто кот, кто шалопай,
Без снисхождений,
Всех отсечет речной трамвай
От отражений.

А речки нет — не унывай,
Ведь снова ржавый
Войны заводится комбайн
В углу державы.

«Роди обратно» — хохма, стеб
И шанс, быть может!
И вновь за нами хоть потоп,
И перед — тоже.

НА ПРОГУЛКЕ

Пинаем с папой голубей,
Грачей, ворон и чаек
За то, что птицы, всех слабей,
Живут и бед не чают.

Кидаем хлеба и зерна
Им, типа, для прикорма.
И те, дурашки, прямо к нам
Сигают с крыш покорно.

Собратьев тушки не страшат
Доверчивых пернатых.
Их ночью кошки потрошат,
Им тоже кушать надо.

Вот нас закладывать бегут
Старушки к постовому.
А им в ответ: «Яволь. Зер гут» —
Сейчас не до того, мол.

Кого-то в маечке «За мир!»
Пихают в обезьянник,
Шлют лесом сердобольных мымр.
И дальше мы буяним.

Плюем на мир и на войну,
Но все же для плезира
Орем в два голоса: «А-ну,
Который Голубь Мира?!»

* * *

Носи по мне траур два года,
Лишь долу при встрече глаза.
«Похожего тьма здесь народа», —
Турист из Пекина сказал.

Вот именно! Вот и не надо
Во всяком меня узнавать.
В купальнике черном наяда,
Фарватер свой мимо фарвать.

То улей ютился, то кокон
С тобою под крышей одной,
Ходил, как лунатик, из окон
И ты, как сурок мой — со мной.

Теперь это мифы, фантомы —
И ты, и, тем более, я.
Где линия рдела разлома,
Зияет овраг забытья.

Кого, как ребенка из сада,
Из ада летишь забирать?
Взгляни — под тобой автострада,
И голос напрасно не трать.

Два года, мой ангел, два года...
Откуда я взял эти «два»?
Потом выходи за кого-то,
Вей гнезда, мышкуй, как сова.

* * *

Стучат дождевики-градинки
По голой по спине,
Мы пляшем, пляшем с Наденькой,
Как янки на Луне.

С апреля зной, как в кратере —
Ощерились верха,
Жара, как на экваторе,
И в озере — уха.

Пекло до исступления,
До одури пекло.
Народонаселение
Спасалось, как могло.

А как оно спасается?
Оно известно как —
Гибрид Мазая с зайцами,
Все в наших, мол, руках.

Льют белую за шторую,
Первач под лопухом.
Глядишь, бегут за скорою,
А следом — за венком.

И вдаль — на легком катере!
Но катер на мели —
И жизнь послали к матери,
И в смерть не догребли.

Мы пляшем, пляшем во поле,
Кричим: «Смелее лей!»
В пожаре ли, в потоке ли
С надеждой веселей.

Упорством вдохновленная,
Природа к нам щедра.
Шкварчим, как сталь каленая:
Нет худа без добра!

СОСЕДКА

Как лампочка, вобрав извне всю тьму,
Пускай не всю, лишь емкости согласно,
Слепая улыбается тому,
Что тьма прекрасна.

Мы с ней знакомы, это значит, мы —
Часть тьмы, да-да, но не спеши пугаться,
В той тьме мы ослепительней зимы,
Светлей акаций.

Ее глазами на себя смотри,
Любуйся, так сказать, но с нею, кроме
Погоды, ни о чем не говори —
Скрывай, что темен.

В ПУСТОМ КАФЕ

Коготок Аленушки-сестрицы
Гаджета царапает экран.
К ней подсесть никак не расхрабрится
О родстве вдруг вспомнивший Иван.

Он сюда одной ногою вышел
Из живых и электронных книг,
Смутно прозревая, что не выжил
В нравственных метаниях своих.

Если не годишься в Монте-Кристы
И не той горючкой бак залит,
Плед накинь, прикинься интуристом —
Черта ль мне до ваших, мол, коррид?!

Башмаком мотай, слегка на взводе,
В такт БГ излюбленным местам...
А ее фарфоровый заводик
Лыбится, как падла, всем постам.

К вам претензий не было и нету
В час, когда тонка до звона нить
Та, что держит на весу планету,
И уже готова уронить.

Ни ее тупому интернету,
Ни твоим возвышенным соплям
В небе не заstopорить монету,
Не отсрочить сочное «блям-блям».

Говорят: «Вот раньше были люди!»
Мы везде себя лишь застаем.
Судный День, и Мир дрожит, как студень,
Но на чай без лихости даем.

* * *

Въезжают люди, начинают жить.
Мне нравится бродить у них под носом,
С тем трепетом считая этажи,
С каким изгнанник тянется к березам.

Я всюду жил, да только позабыл.
Читал сынишке, люстру где-то вешал...
Я из окна рассветного любил
Расслышать залп лирический скворешен.

Пусть ни на что не сохранил я прав
Здесь, кроме пичужьей перестрелки,
На свалку выносимый книжный шкаф
Оставил шрам глубокий на побелке.

...

он остановился, но ничего не ответил

спросивший напряженно ждал — но стоявший молчал
и его молчание входило в душу как лезвие откровения
о том, что ответ нужно найти самому

и что времени осталось всего ничего

* * *

кто вы?

...

сегодняшняя партия расстрелянных

...

что объединяет вас?

...

не знаем
мы впервые увидели друг друга на краю рва

...

там, внизу, сейчас читают ваши имена по спискам
что общего у вас с читающими?

...

не знаем
это совсем другое время и другие люди

...

одновременная насильственная смерть не объединила вас?

...

нет

мы все из разных миров
равнодушных или враждебных друг другу

...

нужно найти что-то общее между вами
от этого зависит, будет ли дальше что-нибудь еще

кто-нибудь знает ответ?

...

мы созданы по Твоему образу — ответил некто
прикрывая ладонью выбитый пулей глаз —

каждый из нас, каждый из тех, кто в нас целился —

все созданы по Твоему образу
даже если никто не знал и не помнил об этом

...

ты веришь, что сказанного тобой достаточно для того
чтоб разговор был продолжен?

...

верую, Господи

КАИН ГОВОРIT АВЕЛЮ

тебе запрещено быть, ты — инаковый
но ты есть, и ты — преступник:
ты нарушил предписание к небытию, являя себя

виноват не ударивший, а тот, кто рухнул к его ногам —
он не был таким, каким нужно

...

где брат твой?
не знаю, о ком меня спрашивают

чужой остается чужим, пришелец — пришельцем
сторож ли я тому, кто вошел в мир моих привычных понятий
и открыл двери вовне, впуская знобкий сквозняк? —

шепчу, счищая пучками травы темные капли с одежды и рук

...

блокируйте аккаунты, баньте всех, кто не свой
модераторы, проверяйте надежность фильтров!

тот, кто согласен со мной — тот мне брат, и сестра, и мать
мой внутренний голос звучит снаружи,
получая заслуженный лайк —

*чужих меж нами нет
мы все друг другу братья
под вишнями в цвету¹ —*

и сок, мерцающий в праздничной чаше, столь же темен
как тот, что стекал по пальцам, сжимающим камень

¹ Кобаяси Исса.

Ян Пробштейн

ИДЕТ ПО СТРАНЕ ГУМАНОИД

* * *

Довлеет днєви злоба мя

Злоба дня заедает меня —
эхо выстрелов, пламя пожаров,
в пламени корчусь огня,
под главную песню о старом:
широка ты страна родная,
но горит под ногами земля,
убивают людей почем зря
от Техаса и до Огайо,
от Москвы и до самых окраин
полыхает ненависть в мире,
от Гренландии до Сибири,
здесь страдают и люди, и звери,
бьют людей от Москвы до Гонконга,
автозаков открыты двери...
Говоришь, за слезинку ребенка?
Говорят о надежде и вере,
а еще говорят о любви
там, где Спас возведен на крови.

* * *

Походкой уверенной, бодрой
идет по стране гуманоид,
он был человеком когда-то —
остались и ноги, и бедра,
и руки, чтоб палку держать.

* * *

Воротишься домой — в собачий рай,
где хорошо питомицам, питомцам,
где столько воли — хочешь вой и лай,
где даже загородок нет и клеток,
где в клетках держат только малых деток
(из нелегальных эмигрантов, что ли),

а в остальном — да здравствует свобода,
мы празднуем свободы день и воли,
среди шутих и фейерверков рады
и снова строим стены и ограды,
чтобы свобода крепла год от года.

* * *

Мы потеряли ориентиры,
бродя в тумане бытия,
остались рваные пунктиры
трассирующих пуль, где я

опутан путами распутий
на перекрестке трех дорог,
и здесь родное все до жути,
как в сказке ведьмин теремок,

и песни главные о старом,
и песни старые о главном,
ретроспектива в стиле ретро,
скажи-ка, дядя, ведь недаром
мы пели песни до рассвета,
казался каждый богоравным,

особенно хлебнувши водки:
такое равенство и братство
среди парадов демонстраций,
шутов, салютов и шутих,
когда делили на троих
добытый с бою хвост селедки
и Дружбы плавленный сырок.

Теперь мы повидали виды,
и бытием, и бытом биты,
и фокус потерял зрачок.
Покой нам снится, нету воли,
живу один, как сыч, как царь,
но стариной тряхнув, как встарь,
я выхожу в открыто поле
на перекресток трех дорог.

* * *

Мы все учились помногу,
но не тому, что надо,
и на большую дорогу
вышли для променада,
дети семьи трудовой,
вышли мы все из народа,
шли мы, не зная брода,
и не вернулись домой.

* * *

Ты с той стороны, а я с этой
по краешку ходим земли,
но песенка наша не спета,
поэтому я с того света
пишу эти строчки вдали.

МНОГОТОЧЬЯ

1

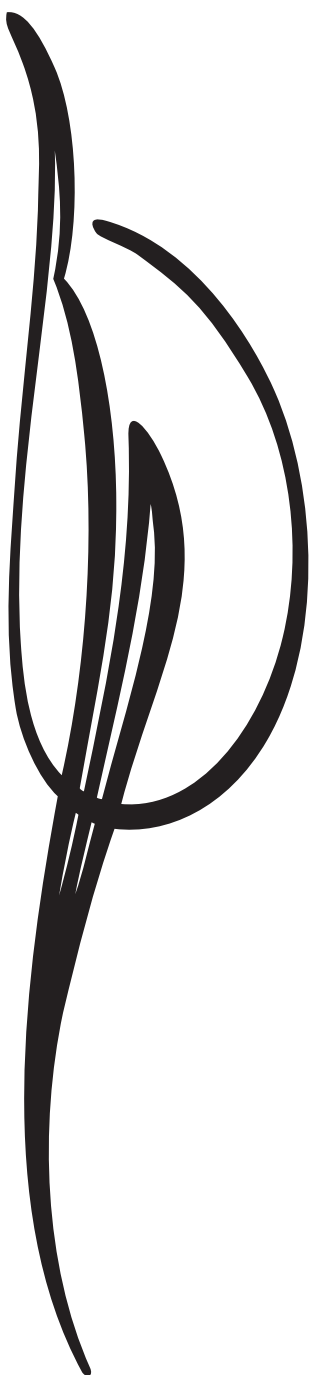
Нам остаются только многоточья...
Чернеют на листе, как будто мухи
на потолке. К молчанью путь короче,
чем кажется. Обрывки снов, как клочья
стремглав летящих туч среди разрухи
земной или небесной на заре,
когда забрезжит первый сполох робкий,
а может быть, как в детстве во дворе
полощутся на бельевой веревке
и хлопают рубашки на ветру,
днем только забавляя детвору,
как призраки, пугая ввечеру,
пока в итоге не сольются с ночью,
и остаются только многоточья...

2

Как все же праздность хороша:
остановиться, поленившись,
стремится пленница-душа
на волю, на сетчатке лица
готовы вмиг запечатлиться,
на них гляжу я не спеша.

Опять во сне явился образ,
как бы с небес слетела строчка,
привиделся небесный топос,
рубины, жемчуги, топазы
кристаллы, золото, алмазы,
а наяву — лишь многоточья...

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ



Елизавета Гарина

ВНУТРЕННИЕ ЛАНДШАФТЫ

*

Река течет, движется вглубь, продвигается шаг за шагом, завоевывает континент. Море — идет из глубины. Его вода стремится к земле; шепотом говорит, что спешит именно к тебе.

Море — как память, — прошлое, которого не найти в настоящем, как родные, близкие люди, бывшие когда-то ими; твой тыл вне дома и города...

Город. Утром едет на тебя, вечером обратно. Его ритм схож с дыханием моря.

Caruso.

Глаза закрыть и видеть.

Море затопляет все.

*

И снова море. Хорошо, что его здесь в переизбытке. И этот его избыток относится не только к морю как воде, ЧАСТИ Мирового океана, той ВОДЕ, отмеченной на карте как Российская, то есть категории качественной — но и количественной: море здесь бедности, печали, ежедневных огорчений, громких и тихих провалов, мелких и крупных неудач, вины и скорби... Болотистое место, топкое. И своей эманацией ложится на всех.

И закаляет.

И учит.

Кого-то. (На Ильин день.) Спасает.

*

Прихожу и сразу раздеваюсь.

Стаскиваю с себя гидравлический костюм, надетый утром для погружения в мир за дверь. Он смотрит из коридора — и как только показывается оголенность, отводит взгляд. Иногда — уходит.

В такие минуты мне кажется, что он не тот, кем кажется.

Или что меня нет. В сущности, это одно и то же. Половинность. Деления на нуль.

И смотрит так. Как все.

*

Четыре дня молчания.

Ни слова. Ни с кем. Ни с собой.

Выворачивание наизнанку без снятия с тела.

В детстве лень было расстегнуть верхние пуговицы, и я стаскивала ее так, не расстегивая. Голова застревала в горловине — узко, чтобы голова прошла, — но и вернуться, т.е. снова надеть на себя, невозможно. И тогда я ходила по комнате в ней, застряв с головой. В полной уверенности, что она зеркально отображает мое туловище (до пояса), что она как бы одета на прозрачную меня живущую надо мной вверх тор-машками. Только головой одной что она, что я — сопричастны. А потом она нависла на лицо, будто волосы совсем не моего, белого цвета.

А потом она распластанной лежала на полу. Ветреницы белой цвет.

Цвет поля победителей.

*

Было и хуже — когда в своем дворе ничего не можешь вспомнить: ни дороги напротив дома, ни сам дом, ни окна. Но тогда я думала о другом: как же те — кто в том доме остался. Был же кто-то?

«Мам, ты опять?» — откуда это?

Белый лист. Белое пятно. Разорванный словарь.

Окулист сказал, что все из-за работы: 12 часов перед монитором — слишком много. Он не знал, конечно, что человеку, который столько работает, и не нужно видеть. Но я не ответила. Наверно, потому что словарь, открытый им на порванной странице, напомнил о местности, в которой нельзя себя узнать.

*

Казалось — хуже. Только казалось. Было — гораздо. Я прижала ему пальцы дверью в подвал. Не специально: не успела свериться с моралью. Просто закрыла дверь на его руку. Когда открыла, он рывкнул: «Дура», — и добавил: «Чтоб ты сдохла!»

Я поверила. Бежала за ним, выкрикивая, как оказать себе первую помощь. Не потому что боялась, что сбудется, надеялась, что все-таки хороший человек.

Разбухаю и краснею, как его рука. Тридцать лет прошло, а он так и смотрит ненавидящими глазами.

Видимо, я, на самом деле, не хочу взрослеть.

*

Снова ночница бьется в окно. Мое окно. Многократно. Мое, т.е. продолжение меня. Моей тревожности.

Причиняет ей не удобства. Боль. Хитиновую.

Кто-то продлевает себя до меня, экспансирует мое тело. Ночницы. Их куколки, дни. И я кричу:

— Живодеры! Живодеры! —

Детским ртом не своего голоса.

*

Открылась дверь — вырос туман. За окном — по другую его сторону — вспыхнула лампочка. Все в комнате было спокойно. Никто не ходил, не выходил. Кроме двери. Она — подергиваясь — скрипела — открывалась.

На угле в тридцать градусов остановилась. Лампочка, пятнадцать минут потухшая, то ли от ее скрипа, только еще по каким обстоятельствам зажглась снова.

Горела, помигивая, норовя уйти в небытие, т.е. за дверь — чтобы на этот раз уже без воскрешений. Но пока она трепыхалась, точь-в-точь, как два дня назад в ее свете ночница, в оконном стекле горел ее двойник.

Я думала: могу ли я быть тем, кто заставил дверь открыться?

Очевидно — могу: у тумана нет формы, а значит, и сюжета.

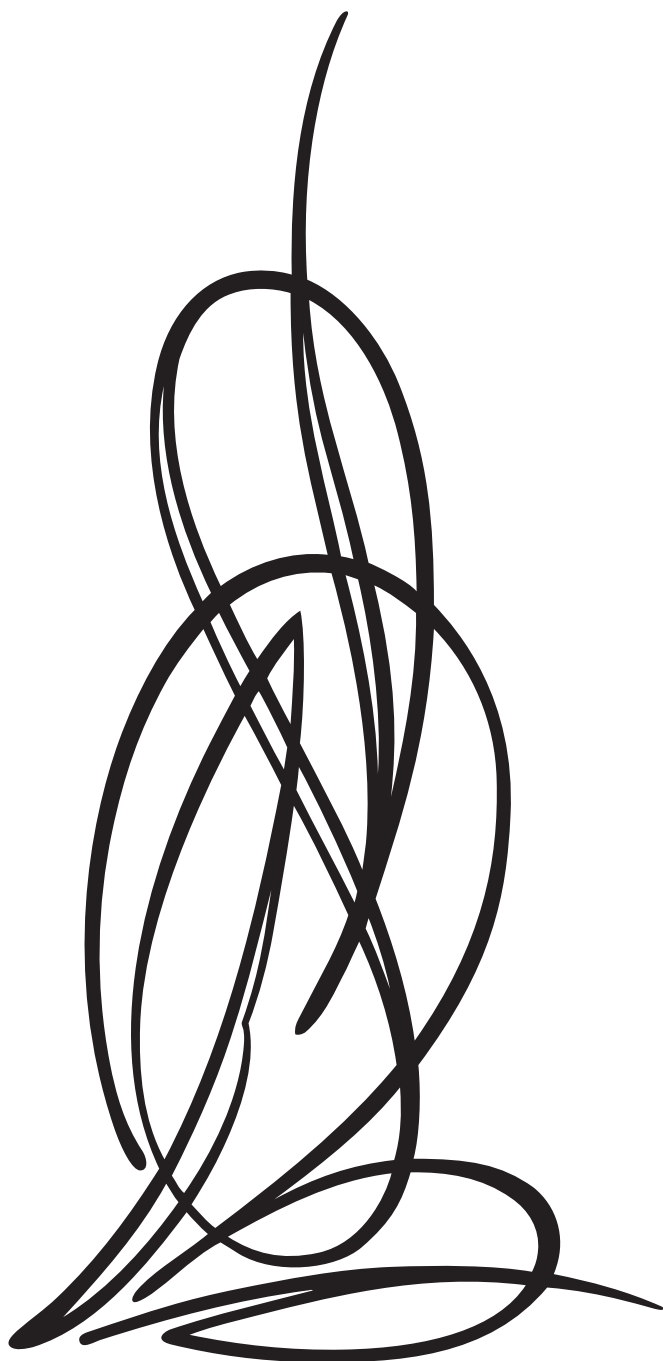
Но лампочка утверждала другое.

*

Египетские мозоли. Всюду.
Но речь не о библейских историях.
История в языке. Язык — в море.
Море — красное. С высокой соленьостью. Где души не тонут.
И грехи. Не высыхают.
Костями лежат под каждым кустом. Каннибализм Вышнего
мира.
Непроросшие семена.
В некоторых европейских языках слово «море» и слово «мама»
имеют один корень.

«Маг, маг» — издаешь, когда страшно.
И сейчас.

ПОЭЗИЯ



Вячеслав Баширов

ЕСЛИ ВКРАТЦЕ

* * *

ночной пожар, восторг и ужас
как чудо божие в кусте
вздываясь в черноту и рушась
в неопалимой красоте
живет, как бабочка ночная
короткой жизнью, до утра
как страсть последняя, хмельная
сжигающая в прах, дотла
а в памяти живое чудо
горит нетлеющим огнем
как дуновение оттуда
откуда и куда идем

* * *

такого марта не было давно
в стране, текущей молоком и медом
и на душе темно, и все равно
куда отправиться по темным водам

куда бы ни попал, как кур в ощип
нелепостей разгадывая ребус
вдруг вспомнится безумный запах лип
иль это слово странное, троллейбус

который кулачками в провода
вцепился, но один идти не хочет
давай возьмем его с собой туда
где беглый дождик лужицу щекочет

по улице недлинной в бедный сад
пройдем вдоль памяти сентиментальной
где липы носят праздничный наряд
сочится медом полдень беспечальный

туда, в первоначальный, жалкий быт
в полуподвальный наш, обетованный
где время, как ребенок, сладко спит
и жизнь еще не знает расставаний

такая нынче выдалась весна
зимой теплее было и яснее
вдруг вспомнилось, была еще страна
и черт бы с ней, да нам туда же, с нею

* * *

об этом запахе черемух
в тревожном и счастливом сне
где каждый шорох слишком громок
в такой пугливой тишине
что бедная душа, ведома
тоской, над темною водою
летит неведомо куда
в такие залетая дали
где убывают все печали
как в летних заводах вода

об этом вкусе земляничном
на самых лакомых губах
о сладкой чепухе на птичьем
девичьем языке: всё ах
да боже мой, когда безмерным
в полнеба дивом атмосферным
сияет ангела крыло
подсвеченное ниоткуда
где всё случившееся — чудо
когда оно уже прошло

об этих летних днях последних
перед осеннею бедой
пустых метаниях и бреднях
с пустопорожней маетой
где юности дурные рифмы
прекрасны и неповторимы
как сновиденья наяву
куда проснуться не посмеет
печальный зритель, не сумеет
не доживет до дежавю

* * *

закружились бесы разны, с ними дядька невермор
отвращая от соблазна, оглашали приговор:
не гляди куда не просят, не ходи куда не ждут
там другое что-то носят, не такое нечто пьют
а иные карнавальные, по заветам бахтина
зазывали в страны дальны, не грусти, страна родна

дан приказ ему на запад, ей приказы не нужны
чтобы драпать, драный лапоть, из родимой стороны
аты-баты, бюрократы отвечали за базар
за умеренную плату продавали свой товар
разрешение на выезд в тридевятый клятый мир
бог не съест, свинья не выдаст в учреждении овир

бьют куранты, пьют курсанты, аспирант и диссертант
обсуждая преискуранты, делят неубитый грант:
диких ангелов повадки в их естественной среде
говорят, что там порядки и солдатки, как нигде
а в соседних-то вселенных, и чего там только нет
ни парадов мавзолеевых, ни театров оперетт

говорят, что там не вьется черный ворон, это раз
да и белая не пьется, как на родине пилаась
я свою нору задраил, ой люли, моя люля
чемодан, вокзал, израиль, средиземная земля
чтобы лето не кончалось, чтобы в задницу свечу
не вставляло мне начальство, вот чего я так хочу

если вкратце, надо, братцы, разобраться, кто поймет
как такому тунеядцу это всё, вот это вот
мимо ямба и хорея я без песен не хожу
знай твержу свои рацеи, непонятные ежу
ой вы сени, мои сени, в моисеевой стране
мандельштам ты мой, есенин в старомодном шушуне

* * *

всё оттого, что ты из тех широт
где снег метет в лицо, за шиворот
швыряет злобно ледяное крошево
когда, проламываясь сквозь пургу
бежишь, оскальзываясь на бегу
припоминая кой-чего хорошего
из бодуэновского словаря
из декабря летишь, из января
в февральскую метель, с утра и до ночи
слепающую, сводящую с ума
кружащую с темна и до темна
свистящую сквозь тишину разбойничью
когда и в самом солнечном краю
несешь пургу беспутную свою
метущую поземкой неотвязною
красавице туземной Расскажи
про смутные метания души
и про глубины духа непролазные
она плечами смуглыми пожмет
всё оттого, что ты из тех широт
где крутит и метет, и тьма крошечная
где тот самолюбивый пешеход
кляня судьбу, в тугую тьму бредет
как будто в тишину идет нездешнюю

* * *

надтреснутое небо протекло
на лобовое брызнуло стекло
нахлынуло прибойною волною
схватило, закрутило, понесло
в слепое половодье грозное
где ни домов не видно, ни дорог
стихия злая, ужас и восторг
безумие в том самом смысле слова
как будто некто без ума исторг
рыдание из черноты громовой
как будто некий спящий демиург
очнулся от беспамятства и вдруг
затеял в буйном отделении свару
и с перепугу весь небесный круг
низверг в грохочущую ниагару

не бойся, детка, это ерунда
однажды схлынет черная вода
как и любая в жизни чертовщина
и этот вот, распялив невода
нас вытянет из ледяной пучины
и вообще, всё это не всерьез
нет ничего, что стоило бы слез
затянутся расхлябанные хляби
когда упьется повелитель гроз
в своем небесном закемарив пабе
тогда мы уплывем за окоем
в укромный средиземный водоем
где, отрастивши плавники и жабры
клянусь, ни разу в жизни не умрем
покуда будем весело и храбро

Нина Косман

В САДУ РОДНОГО ЯЗЫКА

СЛОВА УШЛИ, ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО МЕДЬ

Слова ушли, осталась только медь.
Нет, медь — это то, что было раньше,
а ныне только муть;
«у» или «е»: при смене гласных
язык меняет смыслы,
до смены флагов ему не дотянуть.
А ведь я взрастила свой язык сама.
Я поливала его из лейки пустоты.
Еще подростком я лелеяла слова,
их понимали лишь родители и ты.
Так я жила в саду родного языка,
хоть за окном все говорили на английском.
А говорят, теперь это язык врага —
язык, который я считала своим личным.
Мне следовало бы его давно забыть
(как его забыли почти все мои друзья),
мол, кому нужна его больная прыть,
его ненужное переосмысленье смыслов.

Но я из трупов Румбулы добыла его суть,
из трупов Сосенок,
из трупов Коммунарки и Лубянки;
на нем говорили мои мертвые
(не русские — отнюдь!).
И из той сути получился порошок,
и он осел на дно сосуда,
и из него я поливала тот язык, цветок —
не тот, что за окном цвел,
на котором говорили всюду —
а личный мой язык.
И желчь, осевшая на дно,
смешалась с миром, говорившим на английском,
так стал мой родной язык и мир — одно,
и почва, политая им, стала родной и близкой.

И мне непонятно, как можно запретить язык,
который я взрастила из своих же мертвых;
что общего у него с тираном дальних стран?
Что вы сказали? В них говорят на том же языке?
Лишь совпадение, уверяю вас, сэр/джан.
Мой — только мой, он вырос в пустоте,
мой выдуманный русский,
как выращенный мамой-одиночкой сын,
он не имеет отношения к войнам;
язык, выращенный в пустоте,
из порошка души, добытого из мертвых.

О КРЫСОЛОВЕ И ЕГО ФЛЕЙТЕ

Выпей, чтобы словить
— нет не кайф, говорит, а волну.
Человек ведь как радио —
ловит волны.
Не каждый, конечно,
но ты умела,
да, когда-то умела,
было дело, умела,
а сейчас не могу —
слишком долго жила
слишком трезво;
слишком вижу реальность
такой, какова она есть.
Так лучше, — говорила себе, —
жить в реальном мире,
без наркоза
стихов, без музыки, без красоты;
так лучше —
стоять на земле,
прочно и скучно
на ней стоять,
и видеть реальность
какой бы она ни была —
чем прыгать по облакам,
с облака на облако
перелетая как птица,
как бабочка, как мотылек,
чтобы в конце каждый раз
неизменно падать на землю.

А бывает, что падает целый народ,
а то и целая страна,
миллионы людей
привыкших верить в красивые сказки,
читать прекрасные стихи —
непрерывно с рифмой! —
зачаровывающие своей музыкой,
красотой,
и сном, сном, сном.
Под музыку таких стихов хорошо мечтать,
и видеть прекрасные сны
и, не просыпаясь, спать, спать, спать.

Под аккомпанемент такой музыки
и смерть не покажется страшной,
и конец позовет к себе музыкой,
картинами, красками, сном...
И когда народ, вобравший в себя эти звуки,
ставший ими,
как музыкант становится флейтой,
когда такой народ падает с облака,
внезапно падает с облаков на землю,
он не знает что с ним случилось,
— ушибся? — в чем дело?
Нет, боли нет,
боль — это сначала, а он уже мертв,
прекрасные звуки заглушили в нем все,
даже боль падения,
ужас ухода,
страх вымирания
целой расы —
не только отдельного «я».

А еще, помнишь, дети города Гамельна,
зачарованные звуками флейты
— как они побежали за...
Постой, — говорит, —
Крысолов был не простой музыкант,
он играл как бог!
В том-то и дело — «играл, как бог!».

Звуков флейты — пусть и волшебной —
оказалось достаточно,
чтобы ввести под наркоз всех детей,
увести их туда, откуда их ждут не одно столетие
и откуда они никогда не придут.
Но не жалейте детей: они не испытали страх смерти
и, погибая, не знали, что их обманул Крысолов.

Люди не крысы, скажете вы,
и легенда о Крысолове тут совсем ни при чем.

Но, говоря, вы все же спуститесь,
за мороженными звуками прекрасных стихов
(знаю, знаю, можно всю жизнь провести в облаках,
наглотавшись рифм, метафор и пр. и пр.),
попробуйте прожить без наркотизма
без рифм,
без музыки
без картин,
не поддаваясь соблазну отдаться призывам
(«мы великий народ высокой культуры и т.д. и т.п.»).
От приземления будет больно,
но только сначала,
а когда боль пройдет
и настанет черед скуки и омерзения,
ты увидишь, что, пока ты летала,
на земле убивали —
от твоего имени.
Ты скажешь — нет, я летала!
Я была высоко, я не знала!
Реальность, и правда,
кровава, нелепа, невыносима, скучна,
в ней невозможно жить без наркотизма.

Но ты все-таки живи только в ней.

А пойдешь за очередным Крысоловом,
так и скажи:
не могу жить без опохмеляющей лжи,
падаю в нее опять —
хотя и кажется, что взлетаю.

* * *

Если ты не знаешь, к какому поколению ты принадлежишь,
и если ты не знаешь к какой стране ты принадлежишь,
и, вообще, принадлежишь ли ты к чему бы то ни было;
и если, по дороге на север, ты видишь падающих с неба птиц,
тех самых — или потомков тех самых —

что сотни лет знали дорогу на юг,
и если, проживая в городе, к которому не принадлежишь,
ты читаешь о стране, в которой ты никогда не была,
оказавшейся вдруг на треть под водой,
и если после этого ты продолжаешь жить
как ни в чем не бывало,
ведь ты привыкла так жить, ни к чему не принадлежа —
ни к народу, ни к стране, ни к языку,
ни к югу, ни к северу, ни к востоку, ни к западу,
а может, из-за того, что ты привыкла катиться, как колобок,
из страны в страну, из города в город, из языка в язык,
а может, из-за того, что корни твои были вырваны,
как зубы дракона,

в предалеком прошлом
и на их месте не выросло ничего,
кроме непонятной тоски
(непонятной другим, а тебе-то вполне понятной,
до зуда в корнях, которых давно уж нет),
следуй уставу утопленников:
сними голову с шеи,
подержи ее в левой руке,
забрось ее в синее море,
то самое, что с каждым днем становится все черней,
то самое, что на треть затопило страну,
в которой ты никогда не была;
и если, приняв жертву твоей головы,
море не смирится,
не войдет в прежние берега
(«Море волнуется, раз, море волнуется, два...»),
то войди по колено в море,
войди по пояс,
войди по шею,
на которой у тебя — помнишь? — нет головы.
Дай морю сделать с тобой все, что оно делает с миром.
Помни: море сильнее тебя.
Помни: море сделает с тобой все что хочет.

* * *

Иногда я ловлю себя на мысли, что за шум готова убить.
Разумеется, я не даю себе волю.
Но вчера, увидев фавна козлоногого средь шумящих гостей,
я подумала, что зря себя сдерживаю.
Никому не нужна эта жертва — ни счастья от нее, ни денег.
Вижу, гости идут процессией и на каждом головной убор
с рогами из слоновой кости
(Сколько слонов поубивали, сволочи!).
Эта мысль о слонах прибавилась к мысли о шуме,
и я подошла к одному из гостей
и сорвала с его головы дорогой убор.
Он закричал, как козел, обеими руками прикрывая козлиные уши.
А тот, что шел рядом с ним, тот фавн козлоногий,
я и с него сорвала убор.
И так я подходила к каждому,
и каждый послушно ждал своей очереди.
Всего их было больше пятидесяти,
своим присутствием они застили свет.
И когда я дошла до последнего
и он смиренно подставил голову,
я сказала с непоколебимой жесткостью:
— Ты будешь носить свой убор всю жизнь.
И миг исчезла процессия, как будто ее и не было,
и наконец стало тихо, как было в начале дней.

Григорий Стариковский

ПРОСЫПАЙСЯ, МОЛЛЮСК

* * *

то ли вылечит грубая шерсть
бесконечных лесов,
подноготная весть
неразборчивых их голосов,

или выпадет добрая ночь
сквозь обноски войны,
ноют клены и ольхи — точь-в-точь
«то – не мы, то — не мы, то — не мы».

да и кто здесь вообще
в долгих сумерках сладко живет,
или небо болеет еще
и звездой настаёт.

* * *

стынь, размятая в ладони,
стань базальтовой стеной
на заиндевавшем склоне
рыжей легкости лесной.

тень, надышанная в небо,
солнце, питое до дна,
и оленьего побега
жалобная кривизна.

и стволы лежат, как братья,
друг на друге, и вода
скользкой змейкой на запястье
прогорает навсегда.

* * *

не ноябрьской прелью выжить —
веткой, тронувшей висок,
влажен мох, и воздух выжат,
как морковный сок.

не кленовою латынью
после ливня — ничего
не исправит легкость тленья,
хрупкость сердца твоего.

СПОСОБ УВИДЕТЬ ФЛОРИДУ (Оммаж Уоллесу Стивенсу)

1.

где топорщились тощие волны,
овчинами пот обтирая,
под соленой золою
сохраняется время живое.

это душное время зовется
головней в глубине полуночной,
или отблеском кожи змеиной
за штакетником черным и точным.

будем вместе с людьми
по дорожке гулять вдоль прибоя,
и не нужно смотреть или знать,
что там льется и тлеет другое.

2.

мяч, застывая над сеткой,
похож на спелое яблоко,
у женщины над лопатками
наколоты крылья.

дальние лодки — изюм,
вдавленный в тесто воды,
тело ветра — тепло, и долгая дрожь
бумажной птицы, привязанной

к чьей-то руке... отпускник
возлежит, как царь, на гостиничном
полотенце, отдавая дары
уходящему свету.

3.

прострел полицейской сирены
над сутулыми зимними днями.
истончение яркого звука.

дверь открыта, — входи сюда, ночь,
самая длинная, вот твой балкон,
вот и кресло — садись и качайся.

темнеет к пяти, исчезают линии
дождевых капель, сиротские диагонали
в сторону моря... я дочитал геродота

и не знаю, что с собой делать, —
взять такси и поехать в гости,
или пройтись по набережной.

4.

нашпиговать бы весь этот берег
медузными пузырями,
устроить пирог с прозрачною требухой.

опоясаться бы гирляндами водо-
рослей, еще влажных от шторма,
и пуститься в горький пляс.

створка раковины, как стена
перед сносом, — просыпайся, моллюск,
твой дом идет в распыл.

посмотри вдаль — там парусник,
как маятник, растерявший время,
всходит на плечи ленивых волн.

вода — это область войны, здесь нет
посторонних, ты тоже с ними
выползаешь наверх.

2021–2022

CHRISTMAS CAROL

голос серебряный с прищелком, —
«щедрик, щедрик, щедри́вочка»,
кроткие колокольцы, снующие
в вечернем воздухе «ластівочка
стала собі щебетати», ластівочка —
дальняя на том берегу электричка,
катер, рубцующий речную воду,
стрекот пленки в проекторе:

паданец в детской руке —
перегоревшая лампочка,
воловий нахрап упирается в поле,
человек поднимает пыль —
комсомольская ламца-дрица.
его убьют на загибе дороге,
но трактор вползет все равно
в новый порядок времен,
вжимаясь в черную землю,
вслушиваясь в ее сопение.

ОВИДИЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ОБРАЗА

ночь тоже имеет лицо,
последняя — в городе,
повторяю ее по кускам,
ощупываю наизусть.

она слоилась к рассвету,
улицы проступали пятнами,
сутулое отделение почты
в нимбе рыхлого снега.

мать поливала комнатные
цветы, разносила конфеты
и пастилу, шептались гости,
допивая остывший чай.

я выдавливал из себя голос,
но слова не сводились в целое,
превращались в серые камушки.
сыпались на линолеум.

мы заполняли баулы,
в которых возят шмотье,
бросали туда деревянные
ложки, подносы с цветочками,

румяными девами в полушубках...
снег ложился косо, вслепую,
стараясь перечеркнуть фонарное,
возвратное освещение.

Юлий Хоменко

ЛЕТНОЕ ПОЛЕ

* * *

что ни поле то летное
из-за над ним летающих
ветров

облаков

самолетов

ангелов

пчел

* * *

покуда голубь во дворе
воркует все крапя пометом
не вне игры я но в игре

за ходом ход за поворотом
другой какой-то поворот

но хода нет во двор обратно
где от подъезда до ворот
танцуют солнечные пятна

* * *

в девяностых
деревенским начинающим дачником
купил ведро картошки у бабки
для которой земля
родившая эту картошку
давно уже стала пухом

*

а другая бабка считалась ведьмой
жила в покосившейся развалюхе
и внезапно исчезла
а следом и развалюха
охвачена дымом и пламенем
куда-то к чертям унеслась

*

а почтальонша
на старости лет вышла замуж
за своего же
тридцать лет невесть где пропадавшего мужа
и вот притащился
рванина и пьянь

*

этот ничейный пес
набрасывается на бабок определенного типа
сухопарых в платке в длинной юбке
видно когда-то
досталось ему от одной из таких вот
и вправду зловредных старух

*

к настоящему времени
практически все эти бабки
переселились на кладбище за большак
туда не пробраться
бурьян да крапива
покой так покой

* * *

двор в снегу
фонарь не слабо
светит полный как луна

никого

одна лишь баба
баба снежная одна
ходит по двору и ходит

только гляну
вмиг замрет
в неудобной позе

вроде
и не ходит взад-вперед

Евгений Степанов

ЖИВЫЕ НЕБЕСА

ПЕСЕНКА БОМЖА

Человеку нужен человек.

Ст. Лем

Человеку нужен чебурек
И стаканчик крепкого портвейна.
Человеку нужен человек.
Если выпивать, то не келейно.

Человеку нужен человек,
Что бы там зануды ни базлали.
Человеку надобен ночлег,
Даже если где-то на вокзале.

Человек зажат судьбой, как болт —
Жесткими клешнями пассатижей.
Человеку нужен белый кот,
А быть может, черный или рыжий,

Даже если кот на полчаса
Подошел к тебе и просит млека.
А еще живые небеса —
Сфера интересов человека.

Я ВЫЖИЛ

Я выжил в горькой битве с вирусом,
Храним зачем-то Иисусом.
Мои стихи на тройку с минусом,
Но жизнь моя на тройку с плюсом.

Вода и хлеб. И руки сильные.
И нет в чужом глазу соринок.
А надо мною небо синее,
А подо мной родной суглинок.

ПОСЛЕ

Мошною, баксами в конверте
Моей души не побороть.
Не легкой жизни — легкой смерти
Прошу, Господь.

Летит мой поезд под откос ли,
А может быть, летит домой?
Важней всего — что будет п о с л е.
Не опоздает поезд мой.

СМЕРТЬ-И-ЖИЗНЬ

Смерть ходит по ногам, рукам, по закоулкам
рассудка и фигвам рисует в мире гулком.

А жизнь глядит в окно, внимая птичьим трелям.
Сухое пьет вино и грезит Коктебелем.

Смерть ходит по земле, показывая меч нам.
А жизнь — парад-алле в безбрежном мире вечном.

Геннадий Капранов

А Я НАЧИНАЛ-ТО С ЛЮБВИ КО ВСЕЛЕННОЙ!

Геннадий Капранов — казанский поэт, чья жизнь и смерть стали мифом. Он погиб от удара молни в 1985 году. Ему было 47 лет.

Невероятное обаяние его личности и поэзии, под которое попадали многие окружающие, сделало его имя еще при жизни легендарным. Публикаций было мало. Книги не выходили. Всё как у большинства порядочных людей в советское время, не ожидающих славы и признания.

Вот как пишет о Капранове казанский писатель Адель Монрес: «В его комнате умещался один большой топчан без ножек с нечесаной сожигательницей, окно, печурка, ведро для бычков и батарея бутылок, которые, как мне казалось, играли роль музыкального инструмента и сопровождали любое движение хозяина веселым или печальным звяканьем. Да, конечно, в углу на полу ждала своей ночи старенькая печатная машинка и рядом были навалены расползающиеся кипы стихов, набитых мелким шрифтом. Пили, читали стихи... — всё как полагается».

Капранов окончил факультет иностранных языков казанского педагогического института. Он переводил английскую и французскую поэзию на русский язык.

Переводы почти не публиковались при жизни.

Усилиями его друзей было издано несколько сборников стихотворений поэта, каждый из которых расходился мгновенно среди читателей.

Для нас, молодых поэтов, удивительная смерть Капранова была поводом для разговоров о том, как должен умереть настоящий поэт. Каждый думал о себе и о том, как бы он хотел закончить свой земной путь. Сейчас эти разговоры представляются немного смешными. Но тогда для нас это было важно. Кто-то сказал про Капранова, что это была красивая смерть, на что Марк Зарецкий, руководитель старейшего в России литературного объединения при музее Горького, где тусовались многие казанские поэты, возразил, что красивой смерти не бывает. И, кстати, его смерть подтвердила его слова.

Юрий Кучумов, близкий друг Капранова и поэт, написал по моей просьбе эссе о Геннадии Капранове и о его последних днях.

Лилия Газизова

Я жил тогда на улице Горького, у безработного поэта Ивана Данилова. Наплывами здесь собирался казанский андеграунд: завлабы, математики, философы. Ну и, конечно, вольнодумцы-поэты. Мы хранили под половицами фотопленки с «Архипелагом», «Зияющие высоты» и рукописного Бродского.

А Гена был бабник. Садился на корточки перед красоткой, смотрел ей преданно в глаза, читал стихи и гладил коленку. Но женщины ускользали. Они любили Генины стихи, но не любили Гену. Только одна, что приходила иногда с ним, забиралась с ногами в кресло и не сводила с него своих черных немигающих глаз. Гибкая, худенькая, мать троих разно-мужних детей, она ни разу, в нашей компании, не проронила ни слова. И очень этим нас всех интриговала. Звали ее Фарида.

Гена жил на улице Баумана, прямо напротив казанского кремля. Хилая комнатка, подслеповатое окошко, промятый диванчик и старенькая облупленная печь. Зато у него была югославская пишущая машинка, по тем временам — мечта! Все его звали ласково — Гена. Самолюбивые, неуживчивые, мнящие о себе, при нем мы примолкали. Просили — почитай. И он читал: без евшушенковской патетики, без нарочитой монотонности Бродского — как-то ласково, виновато, буднично и совсем незаслуженно.

Но как он был упрям! Курил много, но никогда на ходу. «Гена! Мы опаздываем!» Гена присаживался на поребрик, или ступеньку, и доставал сигарету.

Патологически не мог врать. На вполне законный вопрос моей жены: «Гена, где вы были всю ночь?» — преданно смотрел ей в глаза — «Валя, не спрашивай, пожалуйста, я не умею врать». И Валя больше не спрашивала. Может, такими и были юридивые? Да нет, скорее он был ребенком.

Набережные Челны были для нас островком трезвости — где царили гласный и негласный сухой закон. Туда мы уезжали отдохнуть от забубенного казанского алкоголизма. Иногда, правда, удавалось отлежаться и в Казани. На улице Волкова, в психоневрологическом диспансере был добрый знакомый главврач. Спасаясь от уголовной статьи за тунеядство, мы с Иваном Даниловым упросили принять нас. В палате мы обнаружили Гену. Три поэта на двенадцать квадратных метров — плотненько. Гена тут же взялся обучать меня английскому языку.

Как-то продали мы в парке Горького, цыганам, спасенную нами из мединститута собачку, боксера. На вырученное зашли в пивную. И вдруг Гена берет свою кружку и направляется к одной шумной компании. Что-то говорит, и с одним типом они выходят на улицу. Я следом. Непонятки. А эти два мужчины присели на бордюрик и шпарят, почти одновременно, на английском. Ждать пришлось

долго. После спросил: «Знакомый?» — «Да нет, я просто вижу — человек язык знает».

И еще о пользе владения иностранным языком в СССР и об удивительном качестве этих, совершенно незнакомых людей, видеть друг друга. Однажды, истомившись похмельным синдромом, уже поздним вечером, мы вышли с Геной на Баумана и продали первому же таксисту мои «командирские» часы за пять рублей. Столько же стоила бутылка водки в ресторане. Там же на Баумана, уже под закрытие, зашли в ресторан «Казань». «Все-все-все — ресторан закрыт!» — встретил нас официант. И тут неожиданно Капранов заговорил на английском. Официант вздрогнул, но ответил ему на том же. Присели за столик. Беседа текла непринужденно, но мимо меня абсолютно. Уже потушили свет. Добрый самаритянин наложил нам пакет еды и две бутылки водки. Денег не взял.

А еще Гена не стал разведчиком. Самым настоящим. На третьем курсе иняза к нему ходили на консультацию по языку преподаватели. Естественно, он попал в поле зрения спецслужбы. Ему сделали предложение, от которого не принято было отказываться. Слава богу, он не прошел медкомиссию.

Он не был диссидентом. В квартире его матери висел большой портрет Сталина. Его сестру, Марию Николаевну, недобрым словом поминает в своих дневниках Светлана Аллилуева. Мария была личной медсестрой Василия Сталина.

В Челнах, у меня дома, Гена с Иваном жили в одной комнатке, спали на одном диване, синхронно шли курить, обедать, искать двери. Дверей в новостройках было много — сотни, тысячи. Надо было методично, этаж за этажом, обходить дома и вежливо спрашивать: «Двери обшить не желаете?» Кто-то желал, и тогда эту дверь мы утепляли. Тем и жили.

Одевали Гену в «Детском мире». Его размерчик. Был он пижоном. «Гена! Белый пиджак в Казани станет серым!» Ну что ж, ну и пусть. «Какие глаза!» — воскликнул мой отец, впервые увидев маленького, черного человечка. Глаза врубелевских демонов — темные, бездонные и, в то же время, распахнутые тебе навстречу.

В то утро мы поехали в Елабугу: Данилов, Капранов, Валя. Не к Цветаевой, не по монастырям — за хлебом нашим насущным — обивочным материалом, для бесконечных челнинских дверей. Обычный рядовой день трезвой челнинской жизни. Разве что как-то по-особому проявлялась эта обыденность: мало говорили, много курили — замкнулись, одним словом.

Пока курили у автобуса, Гена, задумчиво сказал: «А знаешь, я жить устал. Мне уже ничего не интересно». Было ему сорок семь лет. Есенин устал в тридцать. Дело не в годах. В чем-то еще. Гроза

заходила издалека, неспешно — она пришла за поэтом. Он тоже совсем не поторапливался: перебирал удочки, крючки вязал.

Дома, уже после поездки, мы с ним засобирались на Каму, порыбачить. Валя нас отговаривала. Черная туча громадным пологом напоззала на город. На реке, у плотины ГЭС, плечом к плечу сотня рыбаков пытала удачу. Бедная рыба тучными стадами подымалась вверх по течению на свои кормовые луга. На ее пути непреодолимо вставало бетонное тело плотины. Рыба скапливалась, голодала и бешено хватала любую приманку.

Мне удалось втиснуть Гену в это рыбацкое братство, а сам я отправился подальше в одиночестве ловить судака. Ливень ударил внезапно, стеной. Молнии безумным закройщиком распарывали небо вдоль и поперек. Я спрятался в какую-то огромную трубу, пережидая непогоду. Когда дождь утих, вышел к воде, пошвырять блесну. Подошел паренек, тоже со спиннингом. «Там сейчас молнией мужика убило». Мой спиннинг выпал из рук. Я уже знал, кого убила молния. Сто человек. Но я точно знал кого.

Когда прибежал на место, рыбаки вяло расходились. «Мы тут его в песок зарыли. Говорят, помогает». Но не в этот раз. Гена лежал действительно засыпанный влажным песком. В груди виднелась маленькая ранка. Недалеко валялся в клочья разорванный ботинок. Я долго сидел возле его тела, не зная что делать. Совершенно без мыслей, без эмоций. Лишь в голове стучало — как же так... как же так...

Молния вошла ему в грудь.

Потом я нес его маленькое тело, звонил в скорую. Ждал скорую. Скорая вызвала прокуратуру. Ждал прокуратуру, давал пояснения. Прокуратура вызвала морг. Ждал морг. В диспетчерский вагончик нас не пустили, и все наши долгие ожидания прошли под дождем: я сидел на корточках, а Гена лежал. Домой я попал только ночью.

— А где Гена?

— А Гены больше нет.

Валя с Иваном сели на одну табуретку.

Приехала сестра, Мария Николаевна. В морге мы переодели его во все новое, отец помог с машиной, и поехал Гена в свой последний путь, в Казань. Сами похороны я помню смутно. А точнее, совсем не помню. Знаю только, что все организовал Виль Мустафин, с которым мы подружился позже. Ни писательская организация, ни литфонд не помогли ни грошиком, ни добрым словом.

В памяти лишь осколки... Однажды нас с Геной отправили за вином, наскребли кое-как на одну бутылку. Ну что бутылка на четверых? И зашли мы с ним на стадион. Сидели на лавочке, грелись на солнышке и очень хорошо поговорили. Под вермут. Ласково так го-

ворили, неспешно. И курить у нас было. Когда плохо всем, то пусть хотя бы двоим будет хорошо. Стыдно не было. Грустно. Уголек какой-то все не гаснет, все теплится. Гена...

Потом уйдет и Иван Данилов — вечная антитеза Гены. Уйдут два таланта, непризнанных, бескнижных, почти забытых.

А ливень смывал с песка мои следы, страхи и ледяной стеной вставал между прошлым и будущим.

***P. S.** У него была кошка. Он так и звал ее — Кошка. В сковородке варил мойву. Обильно посыпали солью и перцем. Соль и перец, как и хлеб, добывали в столовой Дома Кекена. Кошка чихала, но с мойвой справлялась, осуждающе, но с любовью глядя на Гену. Жизнь продолжалась. До двадцать пятого июня одна тысяча девятьсот восемьдесят пятого года.*

ГЕННАДИЮ КАПРАНОВУ

*Как будто выключили свет —
казалось бы, такая малость.
Здесь только что стоял поэт,
вот и тепло еще осталось.*

*Что поманило, увлекло
и провело его меж нами?
То мимолетное тепло
не вытянет и сквозняками.*

*В какие выси унесло
его дыхание дуновение?
А в доме круглый год тепло.
От парового отопления.*

Юрий Кучумов

МАМИНЫ СТИХИ

Нас четверо, и трое мы тихи,
и мамины мы слушаем стихи.

А мама еще очень молода,
еще в пятидесятые года.

И мы еще малышки по годам,
и вот она стихи читает нам.

Не Лермонтова с Пушкиным, не чьи,
не чьи-нибудь, а именно свои.

Вся — слух, моя сестра восхищена,
и в маму она просто влюблена!

И непонятно — рад или не рад,
чуть криво усмехается мой брат...

«Ночь, мороз, и иней на ресницах...» —
ах, как эти строчки хороши и —

«все осталось на страницах
дневника, на дне души...»

СИРЕНЬ

Сырые улицы! Сирень!
У всех полно сирени!
И сыро все. И чем сырей,
тем улицы синее!

Сирень, сирень! Я пьян с нее!
Сирень — мое веселье!
Дай бог всю жизнь бы так синё,
сиренево, весенне!

И в час кончины — дай мне, бог,
не музыки посмертной,
а чтобы был как первый вдох —
и выдох мой последний.

И чтобы гроб мой сквозь сирень
тащили веселее —
по той, которая сырей,
которая синее!

КАК-ТО ТАК

Постройкам — лет за сто. За сорок и мне.
Мир ценен утилем, а не чудесами.
И если ничто не меняется вне,
то — что же поделать — меняемся сами.

Я свыкся и даже, пожалуй, влюблен
в метеный асфальт у калитки смиренной
и в холмик зеленый с беленым кремлем...
А я начинал-то с любви ко Вселенной!

С чего бы, дитя тротуаров и трав,
я вакуум вдруг полюбил, а не воздух,
и, детское личико к небу задрав,
я жить собирался как будто на звездах!

Ночной путешественник вышних лугов,
во тьме я светился святого не хуже,
и было наградой за эту любовь
блуждание и попадание в лужи.

Я звездам судьбы не вверяю теперь,
живущему скучный удел уготован,
и — боже! — какой паутиной цепей
я к этому краю земли пришвартован!

И я полюбил этот крошечный край, —
как будто откуда-то я возвратился, —
и этот заборчик, и этот сарай,
в котором, к несчастью, когда-то родился.

УБОРЩИЦА

Походкой старческой, упорною,
но все же с горем пополам
идет уборщица в уборную
не по нужде, а по делам.

Еще не старая фактически,
в мужской одетая пиджак,
она устала не физически,
а просто так, а просто так.

Она одна и днем, и вечером.
Прибрать партком. Прибрать профком.
Она всегда со щеткой, с веником
И с металлическим совком.

И, протирая подоконники,
как будто на экран в кино,
она из туалетной комнаты
глядит в открытое окно...

В соседнем доме крутят музыку,
и кончили глаза болеть.
Ей так приятно после мусора
на небо чистое смотреть.

ВОЛКИ

Волки, волки, ищут вас двустволки,
вслед за вами ходят сапоги.
Берегут вас сумерки да елки,
да четыре собственных ноги.

По миру о вас плохие толки.
Волки, вам опасны лес и луг,
потому что вы не псы, а волки,
потому что не едите с рук.

Волки, волки, тощи вы и нищи,
но зато, как жизнь ни голодна,
на пустой звонок вместо пищи
никогда не потечет слюна.

Пал вчера матерый под картечью.
Долго кровь не уставала течь.
А сегодня у волчицы течка,
и сильнее течка, чем картечь!

Пусть в лесу двустволки лают звонко,
пусть сквозь елки псиною разит —
все ж волчица нового волчонка,
вопреки картечи, народит!

* * *

В детстве, бывало, вечером
долго стоишь у ворот,
делать — убей хоть — нечего.
Смотришь, как ходит народ.
Грузовики, груженные
сеном, шли через мост,
или вооруженные
красноармейцы на пост,
или сосед в подпитии
черту грозил: «Убью!»
Все это были события
в нашем глухом углу.
Солнце во всем участвовало,
лениво в конце дней
за горизонт утаскивая
длинные лямки теней.
Тянулись потом, загаженные,
ассенизаторы в ряд,
или оравы загадочные
цыганок и цыганят.
А позже, когда щемящая
устаивалась тишина,
грудью кормящей матери
вываливалась луна.
Она управлялась с комьями
мешающих ей облаков,
и я, как дитя некормленное,
сосал ее молоко,
накопленное из воздуха.
А в небе, что кверху дном,
как в ковшике дырки, звездочки
подмигивали перед сном.

Земля ко мне милостива.
Я сын ей, мне мать она.
Но все-таки мне кормилицею
приходится луна.

* * *

Уживался я с любыми —
с худшими и с лучшими.
Если б вы меня любили,
вы бы меня слушали!
Не было б непониманья,
ну а если б поняли,
вы бы без напоминанья
обо мне бы вспомнили.
Что же вы меня забыли,
черненького, с чубчиком?
Если б вы меня любили,
я бы это чувствовал.
Прошрое — под слоem пыли.
Хоть бы моли съели бы!..
Если б вы меня любили!..
Ладно! Кабы, если бы...

МАМА

Я не люблю самообмана —
ну, кто такой я? Кто такой?
Я ухожу домой, а мама
с балкона машет мне рукой.

То поясок перепояшет,
то шпилька выскочит как раз, —
и улыбается, и машет,
пока не скроюсь я из глаз.

Я не выдерживаю дозы
того, чего при всех нельзя, —
и слезы, слезы, слезы, слезы
переполняют мне глаза...

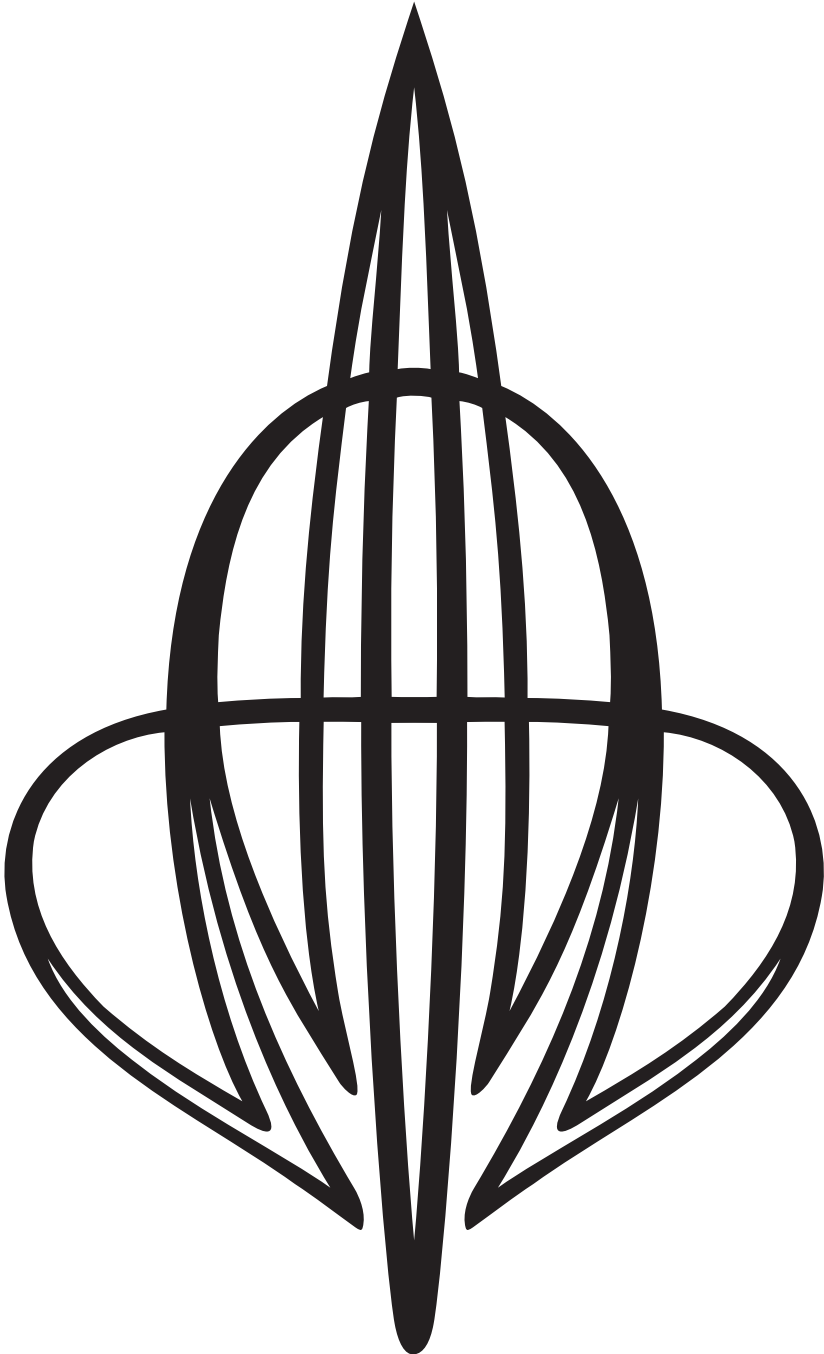
Но не видны во тьме улики,
нас выдающие двоих:
не вижу я ее улыбки,
она не видит слез моих...

Есть только мать и только дети,
кто может искренно любить,
и больше никого на свете, —
и никого не может быть!

Публикация *Лилии Газизовой*

Геннадий Капранов (1938–1985) — поэт, переводчик. Родился и всю жизнь прожил в Казани. Окончил факультет иностранных языков Казанского педагогического института. Публиковался в республиканской прессе, коллективных сборниках.

VERBA POETICA



Валерий Черешня

ТРИ ЭТЮДА О ТВОРЧЕСТВЕ ПАСТЕРНАКА

1.

Помню, как впервые наткнулся на стихи Пастернака в возрасте 13–14 лет — попалась машинописная копия с чудовищными опечатками: «так некогда шопсы вложил / живое чудо / фольварков, парков, рощ, могил / в свои этюды». Кто бы ни был этот фантастический «шопсы», я сразу почувствовал энергию и свежесть высказывания, его первородство. В том смысле, что между словом и тем, о чем оно говорит, как бы не было зазора, слово не описывало, а оборачивалось «грехами и погонями», о которых так взволнованно говорится чуть раньше в этом же стихотворении.

Я сразу понял, что передо мной не учитель жизни, а ее любовник, который умеет своим чувством заразить свидетеля-читателя. И, как в образе любимой, чудесно перемешаны и волнуют внешность, привычные жесты, особенности речи и одежды, так и Пастернаку в любимой Жизни одинаково дороги и совмещены мельчайшие приметы быта и взлеты бытия. И вот, самолет, одолевающий пространство, становится меткой на белье, а «подушка мокрая» предвестницей и залогом бессмертия. С таким устройством души, пройдя которую все предметы, чувства, события выходят омытыми, укрупненными и словно впервые названными, я раньше не встречался. А поскольку попались мне сначала поздние стихи, поражаало еще и то, что достигается все это простыми и ясными средствами, без невнятицы и захлеба, казалось бы, неизбежных при таком накале страсти.

Стороннему наблюдателю влюбленность часто бывает смешна. Правда, в смехе этом есть что-то нечистое, изрядная доля зависти проскальзывает в этой якобы умудренности. Пастернаку удалось все смешные и нелепые моменты влюбленности оставить в биографии (чего стоит эпизод примерки на влюбленную Цветаеву пальто для любимой тогда Зинаиды), но в слове его страсть обретает настолько стремительную и неожиданную грацию, точно мы наблюдаем сцену погони тигра за ланью, в которой хищник может промахнуться, но не может казаться смешным. Даже пресловутое «но ты прекрасна без извилин» мгновенно корректируется в нашем восприятии следующими двумя строками «и прелести твоей секрет / разгадке жизни равносильна», в них замечательная двусмысленность слова «прелести», раскатанным звуком «р», словно в тройном прыжке, взлетает на открытых гласных «е» — «и», отталкивается

от промежуточных «секрет» и «разгадке» (переходя от взлетающих «ре» к утвердительным «ра») и окончательно приземляется в последнем «равносилен».

Эта звуковая партитура, позволяющая чувственному ощущению без потерь отлиться в библейской силы высказывание, будет всегда изумлять в Пастернаке. Скажу осторожнее, пока кардинально не изменится чувство русского языка и способность различать в сказанном на этом языке живое ощущение от банальной мысли. Но и тогда, сквозь все «приколы» изменившегося языка, чуткий читатель, надеюсь, сумеет уловить в поэзии Пастернака влюбленный лепет донны Анны, обольщаемой Дон Жуаном — Жизнью (не зря Пастернак так пленен именно женской судьбой; роль женщины, рожденной влюблять и влюбляться, одна кажется ему равновеликой жизни, почти ее синонимом: «быть женщиной — великий шаг / сводить с ума — геройство»). Улавливаем же мы обиду и ревность в стихах Катулла и Овидия, изобразительную мощь и ярость Данте даже в переводах, — никуда не денется и уникальное переживание гениальности жизни, явленное нам в поэзии Пастернака.

2. Два «Гамлета»

Интересно сравнить «Гамлета» Шекспира с пастернаковской трактовкой этого образа в одноименном стихотворении. Есть ли в шекспировской пьесе основания для сближения образов Гамлета и Христа, как это сделал Пастернак, — в пьесе, повествующей, на первый взгляд, о муках человека, одержимого жадной мщеницей, чувством отнюдь не христианским?

Перед Гамлетом Призрак открывает картину мира, в котором невозможно существовать, в котором брат убивает брата, а жена изменяет с убийцей. Если прежде Гамлету, как любому умному человеку, было очевидно, что мир устроен не лучшим образом, то теперь жизнь по принятым в этом мире правилам становится вовсе невыносимой. Диагноз поставлен, в разных переводах он звучит так: «Век вывихнул сустав...», «Порвалась дней связующая нить...». И если есть какой-то смысл в этой жизни, то это — попытаться восстановить попорченную справедливость. В том, что именно он призван исправить вывих века, Гамлет поначалу не сомневается, вокруг просто нет никого, кто мог бы разделить с ним это бремя; вспомним, с каким нежным превосходством он разговаривает с Горацио, единственным другом, которому он позволяет быть всего лишь свидетелем. Запомним это пронзительное одиночество Гамлета, оно откликнется в пастернаковском стихе.

Вначале Гамлет не сомневается и в том, как восстановить справедливость. Отомстить. Убить преступника. Убедившись в сцене «мышеловки», что слова Призрака не дьявольские козни, Гамлет тут же получает возможность действовать. Он входит в покои, когда Король молится. И тут выясняется, что не все так просто. Гамлет достаточно глубок, чтобы понять, что молящийся Клавдий совсем не тот Клавдий, который убил брата. Преступление совершено в определенных обстоятельствах, возмездие настигает преступника в другое время и в других обстоятельствах; оно настигает, можно сказать, другого человека, является ли оно при этом возмездием? Ткань бытия, прорванную в одном месте, не залатать прорывом в другом. Так возникает основная тема: что такое месть и возможна ли она вообще?

Вторая попытка отомстить также кончается крахом — вместо Короля убит соглядатай, жалкий и угодливый Полоний. Гамлет промахивается. И промах этот неизбежен, поскольку месть, оказывается, еще и ошибка. Предназначенная одному, она поражает другого, умножая несчастья и несчастных (Офелия, Лаэрт). Так развивается тема.

И, наконец, в финале Гамлет, потрясенный расчетливым и изыточным коварством Клавдия (отравленные шпага и вино), с возгласом «Отравленная сталь, ступай по назначенью» убивает Короля. Но и здесь убийство предстает как непосредственная реакция на коварство противника, а не осуществление давно задуманной мести. Человек может всего лишь убить, возмездие если и вершится, то на другом уровне, вовлекая всех участников трагедии.

В итоге самим действием, порядком событий, «силой вещей», как говорил Пушкин, мы подведены к выводу, что месть как осознанное деяние вообще неосуществима, и нам припоминаются слова другого персонажа, не значащегося в списке действующих лиц, но не зря, как мы теперь видим, почти слившегося у Пастернака с образом Гамлета. Слова эти: «Мне отмщение и Аз воздам».

Таким образом, Гамлет, в отличие, скажем, от Лаэрта, для которого месть остается простым убийством виновника преступления, что вызывает понятное презрение Гамлета к его подростковой незрелости, проходит в пьесе серьезный духовный путь, который плотную подводит его к образу его двойника из пастернаковского стихотворения.

Стоит построчно посмотреть четырехстрочный космос пастернаковского «Гамлета».

Гул затих. Я вышел на подмости.

Сразу дается рама — сцена. Конечно, это всемирная сцена, но и обычный театральный зал. Эти два плана все время будут взаимодействовать в стихе: безбрежность духовного события и конкретность, обрамленность одинокой человеческой жизни, ее томления и тоски. Проследим, как перекликаются эти планы, оттеняя друг друга, давая силу и глубину образу:

Прислонясь к дверному косяку...

Еще одна рама (дверной проем), рама в раме, но в нее вписан человек с удивительно знакомым жестом вдумчивой усталости. Это остановленный миг созерцания, обращение к своему провидческому дару:

*Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.*

Этот отголосок — несомненно, будущей судьбы, но в нем есть и отзвук гула зрительного зала, подготовка к следующим двум строчкам:

*На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.*

Второе в стихе упоминание о зрителях (первое: «гул затих»). Драма идет на виду, и как бы герой ни был захвачен ее глубиной и серьезностью, на краю сознания всегда присутствуют зрители, присутствуют с вечной своей враждебностью и любопытством к чужому духу и плоти — «наставлен сумрак ночи». «Тысячью биноклей на оси» — пронзительный, острый вскрик слова «оси», как булавка боли, на которую насажен мир и Гамлет-Христос, и чувственно подготавливает моление о Чаше в следующих строчках:

*Если только можно, авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.*

Итак, на сцене не просто Гамлет, а Гамлет-Христос. Причем Гамлет в высшей точке своего бытия, когда ему с божественной решимостью нужно разрешить судьбу свою и близких, а Христос в самой человеческой точке своей судьбы, в молении о Чаше. Но оба в час сомнений и томления. И всё же, что общего между Гамлетом, проникнутым идеей мщениия, и чистой жертвенностью Иисуса? Кроме того, о чем говорилось выше, еще и решимость на «гибельный шаг» ради

всего, что есть, ради открывшейся им картины Замысла, которому можно только, любя, покориться:

*Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.*

Собственно: не моя, а Твоя воля пусть будет. А вот следующие строки:

*Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь*

— конечно, можно понимать буквально, как переход от драмы Шекспировой к страстям Христовым, но при неразрывной слитности этих образов в пространстве стихотворения такое толкование сомнительно. Мне слышится здесь вскрик личного, особого, нежелание (при всей любви и восхищении им) быть втиснутым в мировой закон. *Моя судьба, моя драма* — они все-таки особые, другие. Без этой ноты протеста не так мощно и торжественно прозвучала бы тема побеждающего рока и отчаяния, контрастирующего со смирением предыдущих строк:

Но продуман распорядок действий

(последний отголосок театра, после чего театр исчезает, сцена раздвигается до общемировой)

*И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.*

Чем же можно без фальши и слабости окончить стихотворение, в котором создано напряжение между духовными вершинами двух тысячелетий и глухо присутствующей толпой, чье косное бытие таинственно совпадает с Замыслом, перед которым склоняются Иисус и Гамлет? И вот, оно кончается отголоском того гула, которым начинается, таким простым, всем знакомым, неумирающим и тоже прошедшим сквозь века — народной поговоркой:

Жизнь прожить — не поле перейти.

3. Симфония гласных

АВГУСТ

*Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.*

*Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую,
И край стены за книжной полкой.*

*Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.*

*Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.*

*Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,
К себе приковывает взоры.*

*И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.*

*С притихшими его вершинами
Сосуществовало небо важно,
И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.*

*В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.*

*Был всеми ошутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, не тронутый распадом:*

*«Прощай, лазурь преображенная
И золото второго Спаса
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.*

*Прощайте, годы безвременщины,
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сражения.*

*Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство».*

Не устаешь удивляться гениальной оркестровке этого стихотворения. Все оно сделано на открытых «о» и «а», несущих тебя от первой до последней строки. Первая строфа — образец этой филигранной оркестровки: начиная с широкого деепричастного оборота, чье «а» долго звучит затихающим камертоном «не обманывая», в катящихся «о» второй строки «Проникло солнце утром рано» есть это вкрадчивое и неотвратимое движение света, и оно подтверждается открытыми «о» следующей строки: «Косою полосой шафрановою». А завершается эта сюита широким мазком открытых «а», заливших светом комнату «от занавеси до дивана».

Вторая и третья строфа — подтверждение того же приема; во второй строфе те же «о» продолжают свою солнечно-живописную работу, в третьей — инерция этого движения захватывает и внутренний мир: «Я вспомнил по какому поводу». И так продолжается до конца четвертой строфы: «Шестое августа по старому, Преображение Господне», где «о» прекращают свой бег и, словно в зените, останавливаются в безбрежности слова «Преображение» и окончательности слова «Господне».

Следующая строфа перекликается с первой; свет солнечный, проникающий в комнату, и свет фаворский, преображающий жизнь и утверждающий начало осени, даны тем же широким «а» («пламени — знаменье») и уже усмирленным «о» («обыкновенно», «осень», «Фавора — взоры»). Следующие две строфы оркестрованы пооче-

редно вертикальными «и», когда нужно создать ощущение движения по лесной тропе, с ее цепляющими ветвями кустов и высокими соснами («И вы прошли сквозь мелкий, нищенский», «В имбирно-красный лес кладбищенский», «С притихшими его вершинами») и горизонтальными «о» и «а», создающими ощущение простора и торжественности («Соседствовало небо важно», «Перекликалась даль протяжно»).

И вновь застывшие «о» в строфе-паузе, перед последним взлетом, уже нестрашные после Фаворского Преображения: «Стояла смерть среди погоста, Смотри в лицо мое умершее».

Взлет финала опять начинается широким «а» («Прощай, лазурь преображенная) и вновь обретшими динамику «о», летящими от «золота второго Спаса», через «горечь рокового часа», через прощание с женщиной — к апофеозу главных «о» стихотворения: «И образ мира, в слове явленный, И творчество, и чудотворство».

Валерий Бочков

УСПЕТЬ ДОБЕЖАТЬ ДО КАНАДСКОЙ ГРАНИЦЫ

1. «Мальчик, ты хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться на шарабане?»

Если ты не в курсе, кто автор этой фразы, то дальше можешь уже не читать. Для остальных продолжу: писатель О. Генри родился в тюрьме. Первые четырнадцать рассказов, подписанные этим именем, были придуманы и написаны, когда Вильям Сидней Портер отбывал пятилетний срок заключения за хищение пяти тысяч шестисот пятидесяти четырех долларов из Первого Национального банка города Остин, штат Техас. По году тюрьмы за каждую тысячу.

Биография Портера запросто могла быть одной из историй, написанных О. Генри. Биография О. Генри должна быть предостережением каждому, кто хочет стать писателем. Вильям Сидней Портер родился в штате Северная Каролина, получил профессию провизора (помните микстуры и эликсиры из его рассказов), в девятнадцать лет он бросает аптеку и сбегает в Техас, где нанимается работать на ранчо (помним и эти истории О. Генри, действие которых происходит на Диком Западе). Из ковбоев его увольняют за пристрастие к чтению — Портер больше внимания уделяет книгам, чем коровам.

Именно отсюда, с техасского ковбойского ранчо, и пролегла трещина через всю последующую жизнь Портера. Именно тут он открыл в себе дар рисовальщика. Он начинает рисовать комиксы — смешные картинки, связанные героями и сюжетом.

Портер едет в столицу Техаса — Остин, берет кредит и начинает выпускать юмористический еженедельник «Роллинг Стоун». Он главный редактор журнала, он же главный художник-карикатурист, он же автор текстов. Разумеется, журнал не приносит прибыли. Портер не сдаётся, он охотится за историями, слушая пьяниц в барах, бродяг на ночных улицах. Суть комикса в короткой истории с неожиданным финалом. В основе любого творения — слово.

По закону жанра именно в этот момент он встречается женщину своей мечты, и как бы написал сам О. Генри — был наповал сражен стрелой Амура. Влюбленные скорострительно женятся. Жена беременна, молодой муж бросает заниматься ерундой и устраивается клерком в банк. Рождение дочки и начало семейного счастья совпало с обвинением Портера в хищении пяти тысяч. Однако денег у него не нашли. Во время следствия выясняется, что Портер кого-то покрывает, но он не называет имен.

За несколько дней до начала суда Портер исчезает. Он оставляет семью и бежит в Гондурас, обычный пункт назначения для граждан, скрывающихся от американской Фемиды. Русское выражение «Раз — и в Гондурас», оказывается, имеет вполне рациональное обоснование — Гондурас не подписал конвенцию об экстрадиции и не выдает преступников. Оно и понятно — «банановая республика». Кстати, авторство этого термина тоже принадлежит О. Генри.

А вот и кульминация: в Гондурасе Портер получает известие о болезни жены и возвращается в Штаты. У жены туберкулез, она умрет через год, когда Портер будет сидеть в тюрьме. Портер отказывается от защиты и — о чудо — суд присяжных оправдывает Портера. Даже администрация банка согласна замять дело. Но какая хорошая история обходится без драматического поворота: в дело вмешивается федеральный прокурор, назначен второй суд, и Портер получает свой пятилетний срок.

* * *

Значение тюрем в истории человечества трудно переоценить: «Архипелаг ГУЛАГ» — основной литературный инструмент разрушения советского строя — был написан в местах лишения свободы, «Майн Кампф» тоже писалась в тюрьме. В тюрьме родился и О. Генри — один из величайших рассказчиков всех времен и народов.

Дальнейшее, увы, банально и печально. И крайне поучительно для простаков, все еще мечтающих о писательских лаврах.

В 1901 году О. Генри выходит из тюрьмы и переезжает в Нью-Йорк, где начинает печататься в журналах. Лишь за один 1904 год он опубликовал шестьдесят шесть рассказов. Гонорары малы, сроки жаты, О. Генри почти не спит, зато много пьет. Его дочь живет у родни в Питтсбурге, но перевезти девочку в Нью-Йорк О. Генри не может из-за отсутствия денег, регулярного пьянства и круглосуточной работы. Правда, он шлет ей письма каждую неделю.

Выходит сборник рассказов «Четыре миллиона». О. Генри пытается написать роман, мюзикл для Бродвея, сценарий для Голливуда. Денег по-прежнему не хватает. В 1907-м О. Генри женится на школьной подружке из Северной Каролины, а через три года писатель умирает от цирроза печени, сахарного диабета и сердечной недостаточности. Ему исполнилось сорок семь лет. За день до смерти О. Генри отправил своему редактору письмо, где умолял предоставить аванс в счет будущего рассказа.

* * *

Жизнь гораздо умней нас, человек по природе своей чванлив, не любопытен и глуп. Жизнь устроена сложнее и затейливей, чем нам кажется. Мы довольствуемся первым объяснением, которое

пришло нам на ум; если же объяснения не нашлось, мы тут же объявляем происходящее «злым роком» или «счастливой случайностью» — тут же ставя себя в центр вселенной. Кошелек с миллионом долларов, потерянный тобой, будет найден Казимиром, допустим, Петровичем: один и тот же предмет станет источником абсолютно диаметральных эмоций. Неисповедимы пути Господни — вот универсальное объяснение на любой случай. Пути эти стали бы гораздо понятней, если бы у нас хватило ума наконец слезть с пьедестала, отойти подальше и взглянуть на происходящее со стороны.

2. «Покойнику было двадцать три года»

Шофер закурил и нагнулся над бензобаком посмотреть, много ли осталось бензина. Покойнику было двадцать три года.

Это самый короткий рассказ О. Генри, с которым он одержал победу на конкурсе короткого рассказа. Условием конкурса было, что текст должен содержать завязку, кульминацию и развязку.

* * *

Почему О. Генри почти неведом в Америке и почему он так популярен в России? В жанре короткой прозы лишь Антон Чехов может соперничать с ним у русского читателя.

Попробуем разобраться: прежде всего, О. Генри говорит с нами на одном языке — на языке русского анекдота. Если вы когда-либо пытались пересказать иностранцу анекдот про Штирлица или Василия Ивановича, вы понимаете, что я имею в виду. У критиков и литературоведов прием этот так и называется «финал О. Генри»: когда в заключительном абзаце вся история вдруг переворачивается с ног на голову. Концовка напоминает мастерский пируэт, это вишенка на торте, это фейерверк в конце бала. О. Генри при жизни даже критиковали за излишнюю «изобретательность», критики сравнивали его рассказы с цирковыми фокусами, с балаганными номерами.

Искусство повествования заключается в том, чтобы скрывать от слушателей все, что им хочется знать, пока вы не изложите своих заветных взглядов на всевозможные не относящиеся к делу предметы.

Сам О. Генри никогда не поступал так: короткая проза требует от автора дисциплины, и если в романе возможны словесные блуждания и философские экзерсисы, то жанр рассказа безжалостен —

в малой форме все огрехи на виду. Каждая фраза текста должна выполнять одну из двух функций: двигать сюжет вперед или раскрывать характер персонажей. Если фраза не выполняет одну из этих задач, она должна быть безжалостно вычеркнута.

О. Генри прекрасно понимал суть жанра, в котором он работал. Финал рассказа должен удивить читателя — как минимум, в лучшем случае — ошарашить. Писатель четко понимал разницу между сюжетом и фабулой. Идеальный рассказ — это не пересказ какой-то истории, это мастерски сработанная шкатулка с сюрпризом, это фокус, — будь то черт из табакерки или кролик из шляпы. Трость превращается в змею, роза — в бабочку. Распиленная пополам девица оказывается невредимой, румяной и в целом отлично выглядит.

Это было и красиво и просто, как всякое подлинно великое жульничество.

Фабулы историй О. Генри слышал от пьянчуг в бродвейских барах, от ковбоев на ранчо Техаса, от заключенных тюрьмы, в которой отбывал пятилетний срок. Но история, даже самая занятая, еще не рассказ, еще не литература. На уровень искусства историю выводит мастерский сюжет. О. Генри брал жизненную ситуацию и превращал ее в шедевр. Недаром Набоков считал фантазию самым важным компонентом писательского таланта.

По внутреннему устройству рассказ больше похож на поэзию, чем на роман. Романист набивает свой текст деталями, персонажами, приметами времени, поскольку пытается создать внутри целый мир. А цель автора рассказа, по словам Эдгара По, оставить большинство слов за пределами текста. У рассказа нет задачи показать многообразие мира. Рассказ сфокусирован на одной идее, писатель начинает с того чувства, которое должно возникнуть у читателя в конце истории; примерно так же как поэт пытается переплавить состояние души в вербальную форму.

* * *

О. Генри повезло — его творческие годы приходятся на золотой век короткого рассказа, он начался с Эдгара По и продолжился виртуозами жанра Антоном Чеховым и Ги де Мопассаном. Одновременно с О. Генри писали Конан Дойл и Киплинг. Читатель точно знал, чем его угостят на десерт в истории про Шерлока Холмса. Или как примерно закончится история с привидениями у Эдгара По. Именно тогда детектив и хоррор как поджанр короткой прозы были отшлифованы до идеала.

Если проанализировать чувства в процессе чтения рассказа, то легко заметить, что, читая даже не падких на эффекты и фокусы Чехова или Хемингуэя, мы ждем сюрприза от финала. Так в опере мы замираем, когда тенор берет верхнее «до» в конце арии. Удовольствие это почти физическое. В разных жанрах рассказа оно свое: мурашки по спине в истории про призраков, удовлетворительное «ага, вот оно как!» в детективе, выдох облегчения в раскрытой (наконец-то!) тайне запутанной мистической истории.

Изобретатель детективного жанра Эдгар Алан По называл это читательское чувство «эффект» и считал его важнейшим элементом не только криминальной истории, но и хоррор-стори и даже поэзии.

Мастер художественного слова конструирует историю. Опытный автор — он не идет на поводу у своих эмоций и не описывает происходящее — он находит зерно истории и прячет его от читателя. И лишь после этого начинает придумывать коллизии и ситуации, которые в финале помогут ему продемонстрировать зерно и произвести наиболее ошеломляющий «эффект».

Эдгар По, 1842

* * *

Впрочем, секрет популярности О. Генри в России имел и вполне прагматическое объяснение. Писатель всегда был на стороне маленького человека — банкиры, миллионеры и политики не вызывают у него симпатии. Не вызывают они симпатии и у коммунистической партии, пришедшей к власти в 1917 году в России.

Не обошлось и без волшебной случайности: доброй феей О. Генри стал журналист Джон Рид, который приехал в Россию участвовать в революции большевиков. Джон Рид, пользуясь своей популярностью в Кремле, бескорыстно и не жалея сил начал настоящую рекламную кампанию по популяризации творчества О. Генри. Между 1920 и 1945 годами было напечатано более полутора миллиона книг. Лишь в 1953 году тираж О. Генри составил 250 000 экземпляров.

* * *

О. Генри умирает в сорок семь лет. Постичь логику Бога мы не можем — мы оперируем в другой системе координат, у нас неправильные инструменты измерения. Если мы еще кое-как можем оправдать тотальный геноцид Содомы и Гоморры, то понять суть Всемирного потопа практически невозможно. Когда уходят молодые гении, мы в растерянности: Господи, как же так? В чем смысл?

Моцарт — в тридцать пять, Пушкин — тридцать семь? А Высоцкий, Леннон, Хендрикс? Фредди Меркьюри?

О. Генри к концу жизни пришел к выводу, что все им написанное не более чем развлекательное чтиво. Он не считал свои тексты литературой, удивлялся, когда критики называли его писателем. Но у него еще оставались амбиции выйти на более высокий уровень. Его последний литературный замысел назывался «Сон» и предназначался для публикации в журнале «Космополитен». В письме редактору О. Генри был резок, горд и высокомерен:

Это будет серьезная проза. Я докажу всем — читателям и себе, что могу написать нечто абсолютно новое, совершенно не похожее на все мои рассказы — не анекдот с фокусом в конце, не пошлую байку, а настоящую драматическую историю. Ясный сюжет, честный язык — это будет идеал настоящего рассказа.

Рассказ «Сон» не был написан. И мы, к счастью, никогда не прочитаем его. Но зато мы можем бесконечно перечитывать «Вождя краснокожих», «Дары волхвов», «Трест, который лопнул» и все остальные двести семьдесят историй, щедро подаренные нам удивительным человеком, который называл себя О. Генри.

3. Дороги, которые нас выбирают

Элемент везения в искусстве весом и значителен. Измерить его невозможно, поскольку те из нас, кому не выпала удача, погребены в общих могилах по обочинам всемирной истории искусства. В лучшем случае к тебе прилеплен ярлык «неизвестный мастер такого-то века», в худшем — от тебя не осталось даже пыли.

Судьба удачливого Пикассо уникальна и является вопиющим исключением. Уверен, Бог придумал Пабло, чтобы поиздеваться над остальными художниками: эй, ребята, да-да, вы, непризнанные гении, подыхающие от голода и туберкулеза по нищим мансардам, поглядите-ка на этого парня — дожил почти до ста лет, кстати, дожил без хворей и недугов, хоть курил и пил всю жизнь без оглядки, переспал с армией красавиц, всегда при славе и деньгах, картины висят в лучших музеях мира — вот каким должен быть настоящий художник!

* * *

Пьяный в лоск Джексон Поллак въехал в фонарный столб, схватив на тот свет своего приятеля и покалечив подружку. Рафаэль умер в постели с любовницей накануне своего дня рождения — еще

бы чуть-чуть, и ему исполнилось тридцать семь. Беременная жена Модильяни выбросилась на мостовую с пятого этажа в день смерти Амадео, ему тоже было всего тридцать пять, умирал он долго и мучительно от комбинации чахотки, алкоголизма и отравления свинцом — беспечный художник использовал столовый нож вместо мастехина, счищая краску с палитры, а после тем же ножом намазывал масло на хлеб.

Эгон Шилле — один из самых интересных австрийских экспрессионистов прошлого века — умер в двадцать восемь лет. До этого он отсидел год в тюрьме по фальшивому обвинению в изнасиловании малолетки, потом его забрали на фронт. Умер он от испанского гриппа.

Жорж Сёра — ведущий пуантилист французского неимпрессионизма — скончался внезапно, предположительно от скоротечного менингита, в расцвете сил и лет, на самом пороге славы. Ему исполнился тридцать один год.

Последний десяток лет Сальвадора Дали стал сущим адом: после смерти жены Галы — его богини-импресарио-мучителя — он наполовину ослеп, после его разбил паралич. В замке случился пожар, Дали с жуткими ожогами вытащили из горящей спальни. Под конец Сальвадор сошел с ума. По завещанию труп художника замуровывают в пол одного из залов его музея в городе Фигерас, так, чтобы любители изящных искусств ходили по его могиле. Эпатаж всегда был фирменным знаком мастера.

Но и это не конец. Очевидно, эксцентричность Дали пришлась по вкусу и кому-то в небесной канцелярии: через восемнадцать лет по решению суда останки художника были эксгумированы для проведения генетической экспертизы: некая девица Мария Мирандель Мартинес претендовала на часть наследства мастера, утверждая, что является дочерью Дали. Эксгумация превратилась в представление: гроб вскрывали при скоплении трех сотен зрителей. Уверен — дух Сальвадора пребывал в экстазе. А девица Мартинес оказалась обычной самозванкой.

Фрида Калло лишилась обеих ног, дважды пыталась покончить с собой — один раз проткнув себя вязальными спицами. Официальная причина смерти — пневмония, по мнению близких — третье самоубийство оказалось успешным.

Последней картиной Ван Гога стал пейзаж с воронами над ржаным полем. Я был там — видел и поле, и ворон. Именно на том поле

Винсент выстрелил себе в живот из револьвера. Умирал он двое суток. В кармане нашли записку брату: «Надеюсь, моя смерть поможет тебе в продаже моих картин. За мертвых платят больше».

Жизнь представляется нам путаницей случайностей лишь потому, что мы не можем или не желаем видеть логики событий. Или боимся? Ведь если разглядеть символы и знаки, осознать гармонию хитросплетений узоров судьбы, покорно принять неизбежность грядущего — не сопротивляясь принять, а с радостью — что может быть счастливей и почетней, чем стать частицей величественного замысла гениального творца? Стать фрагментом божественного полотна — вроде того ангела, вписанного юным Леонардо в полотно Вероккио.

Каждый настоящий художник всего лишь инструмент в руках верховного Творца. Не мешать Ему — вот главное правило. Это потом в интервью ты можешь врать про свою интуицию или вдохновение, наедине с собой художник осознаёт свою ничтожность. Ты — всего лишь скрипка в руках Паганини. И единственное, что зависит от тебя — ты можешь стать виолой Страдивари, безжалостно и неустанно шлифуя свое ремесло, а можешь остаться фанерой из магазина «Культтовары» за двадцать три рубля пятнадцать копеек.

Вермонт, октябрь 2022

ПЕРЕВОДЫ



Лэнгстон Хьюз

СОН МОЕЙ ЖИЗНИ

ОТВЕТЬ!

Слушай-ка,
сон несомненной жизни, —
ты ведь несешь несомненную смерть.
Ты ведь толкнул меня, сон моей жизни!
Где же ты, как не устанешь гореть?
Все-то ты знаешь, ах сон моей жизни:
ветер навеки и солнце навек...
Где же лучи,
что глаза мои видят?
Чье же дыханье
встречает мой бег?

ПЕСНЯ АПРЕЛЬСКОГО ДОЖДЯ

Пусть дождь целует тебя
Пусть серебряные капли стучат над головой
Пусть дождь поет тебе колыбельную
Дождь соберет тихую воду в лужи
Дождь погонит шумную воду в ручьи
Дождь застучит по крыше, под эту песню мы и уснем
Я люблю этот дождь.

БОГ

Я бог —
потому и друзей у меня нет,
один в мире безгрешном
и бескрайнем как белый свет.
Я сверху смотрю на юных любовников,
что в объятьях сплелись.
Но я ведь бог,
я не могу спуститься вниз.
Весна! Жизнь есть любовь!
А любовь — это жизнь, и только.

Лучше быть человеком,
чем богом.
Не придется быть одиноким.

МЕЧТЫ

Держи свои мечты, не отпускай их.
Если позволишь мечте забыться,
твоя жизнь упадет
как бескрылая птица.
Держи свои мечты, не отпускай их.
Не то ведь уйдут навек,
и жизнь будет мертвым полем,
где только холод и снег.

ГОРОД

Утренний город
расправит крылья,
готовясь в полет.
И каждый камень его — поет.

Вечером город
отправится на покой,
развесив огни
над головой.

ПРИНИМАЮ

Меня ведь мудрейший Бог создавал,
а я не очень умен.
И если я делаю глупости,
не будет Бог удивлен.

АРДЕЛЛА

Мне кажется, ты похожа
на ночь, на беззвездную ночь.
Но светят твои глаза, и ночь — прочь.

Мне кажется, ты похожа
на сон, глубочайший сон.
Но вот ты поешь — и песней сон унесен.

ЦИКЛ

Цветы обезглавлены, падают вниз,
и новым бутонам пора
занять свое место, раскрыться там,
где старые были вчера.
Мне жаль цветов, что ушли навсегда, —
что делать, ушли в свой срок.
Но вот распускается новый бутон,
и каждый красив лепесток.

СМЕРТЬ ЧУДОВИЩА

Слетаются стервятники,
чуя смерть,
на последнюю битву
его посмотреть.
На то, как глаза его
остановятся слепо,
проводя ветер
в бездонное небо.

ПЕРЕСЕКЛИСЬ

Отец мой был белый человек,
а мама была черна.
Я часто ругался со стариком —
не скрою, моя вина.
И с матерью тоже ругался не раз,
ее посылал к чертям.
Она уж давно на тот свет ушла,
пусть ей хорошо будет там.
Отец мой скончался в особняке,
а мама в убогом домишке.
Не знаю, где мне помереть суждено:
ни черный ни белый я вышел.

Перевод с английского Виты Штивельман

Георг Гейм

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

ГОРИЛЛЫ

В дремучих джунглях, посреди болот
Могучий топот — бьются две гориллы,
Обняв друг друга и теряя силы,
На зное выделяя липкий пот.

Немы от злости. Только хрип идет
Из легких, и, шатаясь вправо-влево,
Уставшие и пьяные от гнева,
В тростник гнилой повалятся вот-вот.

Одна с другой сдирает часть лица
И пьет из рваной раны возле брови,
Соперница ж в предчувствии конца,

Ей вырвав челюсть, держит наготове
В руке ее... Но вот два мертвеца
Застыли, рухнув от потери крови.

ЭПИТАФИЯ

Дыханьем осени наполнен лес,
Душа уже прощается со слухом.
Вороны на поля сошли с небес,
Боярышник покрылся красным пухом.

Спит лошадь, стоя посреди тропы,
В теперь ненужной упряжи для плуга,
Дотрагиваясь до сухой травы
Раз в полчаса в глухом молчанье луга.

Я чувствую родство в своей крови
С животным, жмурающимся близоруко.
Сюда сбежал я от своей любви,
Но тут тоска лишь, и печаль, и скука.

* * *

Уснуло лето. И в густой листве,
Где ранее цветы благоухали,
Плоды над садом яблони подняли.
И ветер листья гонит по траве.

Еще их мало, но все больше их.
И множится час от часу их грома.
И солнцу не пробиться из-под спуда
Слоеных туч — чумазных и блажных.

О, одинокость осени! Гроза
Идет от края неба. Тронет руку
Дождем — и ты испытываешь муку:
Слепы от слез печальные глаза.

БАСТИЛИЯ

Шумит, с дрекольем встав наперевес,
Толпа, стократ гневливей урагана,
На улице Святого Антуана.
Стальные косы, как дремучий лес.

С величием уязвленного титана
Седая башня встала до небес.
Зев амбразуры в облаке исчез
Изрыгнутом палящим неустанно

Орудием. И с зубчатой стены
Посланник машет, но его не слышат.
В одном порыве руки взметены.

Париж, проснувшись, черным гневом дышит.
Защитники уже обречены.
И порохом горячим битва пышет.

МАЙ

Жасминный куст стекает по стене,
Сухой, но по-весеннему пахучий.
Как тряпка, в бело-серой вышине
Дождь надвигается громадной тучей.

А вечер в комнату забросил тень,
Но солнцем, вроде мертвого ребенка,
Еще на горизонте светит день —
Полоской желтой, теплящейся тонко.

ПОСЛЕ ЛЕТА

Летают вороны
И веет метель,
Земле застилая
Для смерти постель.

И странник шагает
В дремучую даль,
Устало скрывая
От ветра печаль.

И, в саван одета,
Недавно жена
Была белой смертью
Вдруг поражена.

Но лето настанет,
И странник в нем вновь
Найдет утешенье,
И мир, и любовь.

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

В осенний день я шел один
В промозглой рани.
И призраки немых осин
Зловеще таяли в тумане.

И померещилось мне вдруг:
За камышами,
Где пруд лежал, раздался звук,
Но камыши хоть что-то разглядеть мешали.

Удар весла! И эхом он
Ко мне вернулся —
Веслом от берега Харон,
Должно быть, оттолкнулся.

НОЯБРЬСКИЙ ДЕНЬ

Лишились дерева́ листвы,
Запущены поля.
Нет ни побегов, ни травы —
Лишь небо и земля.

И шепчет мне густой туман,
Встающий над рекой,
Что, как покойник, бездыхан:
«Ты здесь теперь чужой».

* * *

Спустился вечер, и туман повсюду.
Неясная — не разглядеть лица —
Косящая траву в белесой гуще,
Фигура запоздавшего жнеца.

Наполнен воздух дребезжащим писком:
Над деревом, как унялась заря,
На фоне лунном весело кружатся
Чернеющие три нетопыря.

ЗИМА

Листья, выросшие в мае,
Кружатся, с ветвей слетая.
Голову повесил мак.
Снег летит в осенний мрак.

И походкой гибкой
Шествует уже
Смерть с визжащей скрипкой
По сырой меже.

РУЧЕЙ

В полдень жаркий
Мчится яркий
По большим камням ручей.

Льется вдаль он,
Вьется вдаль он,
Своенравный и ничей.

Но игриво
Он с обрыва,
В темноте вечерней сиз,

В шуме, свисте,
Голосистый,
Рушится на скалы вниз.

ПОДВИЖНИК

Луной в холодной дремлющей ночи
Его лицо струит во тьму лучи,
И ветер волосы сметает, чтоб
Открыть белесый, как сугробы, лоб.

Провалы глаз, как море, глубоки,
И слезы в них набрякшие блестят.
Но губы всем мученьям вопреки
В улыбке на лице его дрожат.

Едва заметно бьется сердце, вновь
И вновь из ран выталкивая кровь,
Но перестанет биться через миг.
И в облике его заметен сдвиг.

Ладонь его сжимается в кулак,
И смерть зовет в объятия — уснуть,
И день померкший наблюдает, как
Он опускает голову на грудь.

Толпа затихла. Мрак накрыл ее.
Солдат, не нанося уже вреда,
Вонзил страдальцу под ребро копье,
Но вместо крови вытекла вода.

Толпа устала петь ему хулу,
Ведь ночь средь дня накрыла мертвеца,
И льется свет, расталкивая мглу,
Во все концы от мертвого лица.

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Далекие и тусклые поля,
Вдали зелено-желтая земля —
Там с рапсом плотно замешалась озимь,
И вереск в красном платье бьется оземь.

Телега по дороге держит путь,
Возница голову склонил на грудь
И дремлет. О борта гремит посуда:
Внутри кастрюли — дерево, полуда...

Телега проезжает по мосту,
За поворот въезжает — в пустоту,
Гремит и растворяется в итоге,
И ты один остался на дороге.

А ветер листья гонит с тополей,
Замерзших посреди пустых полей,
И листья с верхом наполняют, ржавы,
Гнилые придорожные канавы.

Два листика по луже понеслись,
Не в силах от воды умчаться ввысь,
Плывут двумя баржами на просторе
Вперегонки в вечернем тихом море.

Когда-нибудь вот так же ты, и он,
И я в венках из маков в Ахерон
Вдруг попадем. И поплывем безвольно,
Нас убаюкают густые волны.

Плывущие бок о бок в аккурат,
Родного брата не узнает брат,
Любовница, рождая возбуждение,
Останется все ж за стеной забвенья.

А может, ты останешься один,
Колеблясь вроде рваных паутин,
Истаешь на ветру неуследимо,
Как тень от дыма или запах дыма.

Олег Коцарев

ВТОРАЯ РУКА

АВГАНИСТАН

Вызревали сентиментальные
ритмы восьмидесятых годов,
Советский Союз готовился заканчивать
свою войну в Афганистане,
и нас, школьников,
первоклашек или второклашек
одного из самых больших городов
этого самого Союза
попросили сделать подарок
детям Афганистана.

Подарком должны были стать
наши рисунки —
на них учительница велела
изобразить школьную линейку —
и письма с рассказами
о нашем житье-бытье.

Сложно сказать,
что имел в виду
человек, все это выдумавший:
утешить детей несчастной страны
образом мирного быта?
Покрасоваться перед ними
и перед их учителями?
Поманить перспективой
счастья и благоденствия школьной линейки советской?
Или, может, намекнуть нам самим
и нашим родителям —
не все, видите, у нас плохо,
не ропщите на СССР,
а то знаете, как оно иногда бывает...

Для рисунка я избрал
перспективу сверху и сбоку,
словно из дома напротив школы,
взял самые беспросветные карандаши —
черный,
серый,
водянисто-рыжий,
исцарапанно-фиолетовый,
темно-зеленый
и нарисовал линейку:
низенькую толстую директоршу
с микрофоном,
шеренгу учителей,
тоскливых учеников,
асфальтовый двор,
голый, как скалы Афганистана,
плакучие клены,
торец издательства «Прапор»
с малюсеньким окошком,
в которое ученики бросали
всякую
дребедень,
и серое чуть обвисшее здание школы
в недостаalinском стиле.

Кажется, это было одно из моих
самых реалистических произведений.

Именно поэтому, наверно,
учительница,
страниц журнальных жительница,
взяла мой листок,
покачала головой сокрушенно
и сказала:
«Ну не посылать же такое
в Афганистан!»

И в самом деле.

Так что я с чистой совестью
и честно заработанной карандашами тройкой
мог смело идти домой,
думая о неизвестной мне стране.

Название ее, кстати,
в наших краях
произносили как Авганистан.

Может, это было бы интересно
кабульским или кандагарским детям?
Может, об этом
стоило написать в письме,
которое я забыл написать?

Прошу зачесть
этот стих
как запоздалое письмо
давно выросшим детям.

С наилучшими пожеланиями,
Ваш О.
Подпись, дата, место.
Исправленному — верить.

* * *

ну и ветер
даже в колодце вода
свои ребрышки
показывает

ВТОРАЯ РУКА

Почему у тех,
кто стоит возле рельс
и поездам салютует,
вторая рука
всегда за спиной?
Что они прячут в ней?
Украденные кольца Сатурна?
Мягкий камень?
Железную воду?
Чересчур мелкие страсти?

Но из окна поезда
не получишь ответов,
можно лишь продолжать наблюдать,
как те, что стоят возле рельс,
машут
уже следующим вагонам —
словно моют невидимое окно.

* * *

Мода колеблется, словно маятник
часов идиотских с цифрами только двумя
и пустым трамплином вместо кукушки.

Видишь, как в метро
мужские прически все время длиннеют,
почти уже догоняя
твою прическу.

И ты постепенно в который раз
превращаешься
из стремного нефора,
пидора,
байкера
(все через «р»)
в хорошего патлатого чувака
с забавной футболкой,
вместе с которым, может, даже когда-нибудь
неплохо было б вдвоем
опоздать на лекцию

Знойная река воздуха
бежит сквозь вагонные форточки,
мелькают станции,
мелькают пустые бутылки
из-под минералки.

Все меняется.
Но ни фи́га не течет.

Перевод с украинского Станислава Бельского

IN MEMORIAM



Андрей Грицман

К СТОЛЕТИЮ А. П. МЕЖИРОВА

Когда говоришь о поэте, говорить надо, прежде всего, о стихах. Судьба поэта — это его стихи. И наоборот. Внешняя жизнь является орнаментом предназначения, судьбы поэта, той главной жизни, которой являются стихи. Стихи — это судьба, жизнь души, ее исповедь. Когда сказано все, тогда душа, и ее инструмент — «лира», замолкает. В случае одаренного поэта — обычно на время. Однако это молчание тоже может быть «криком души» и со временем прорывает внешнюю оболочку бытия. В случае некоторых многоречивых авторов поток становится пересказом уже высказанного, гладкописью, и результат известен.

У поэта Межирова в запасе было столько недосказанного, важного, и вес слова столь велик, что «музыкальных заставок» нет. Путь обозначен метами поэтической речи, по которым поэт ведет нас в туманные, заснеженные, странные места...

Душа поэта рассказывает свою историю сквозь гул жизни, но слушая «шум времени». Поэтому нет особой нужды рассматривать детали биографии, противоречивые повороты ежедневного бытия поэта, неразрешенные загадки, недосказанные слова, смысл тех или иных оброненных фраз кому-то — в творческой командировке, в ЦДЛ, в Переделкино, в Нью-Йорке.

Одна из главных черт поэзии — ускользание, неподвластность анализу, рациональному осмыслению. Поэту Александру Межирову как раз весьма свойственно это ускользание, переливчатость, переменчивость. Здесь поставим точку. Да, ему это свойственно, но, в то же время, стихам его свойственна сквозная, стержневая цельность, идущая от совсем ранних стихов, с начала 40-х до самых последних — «американского цикла», или американского периода.

Помню, звонил Межирову, спрашивал: «Что поделяваете?» Он и говорит: «Смотрю тетради конца тридцатых, начала сороковых годов: ищу в каких-то обрывочных записях — а нет ли там стихотворения». Вот эти «поиски стихотворения» все время, постоянно, сквозь шум жизни, сквозь повороты ее, и есть характерная черта Межирова. Несмотря на литературный круг «соратников», собутыльников, подельников, учеников и учениц, Межиров всегда был один. Как и должно быть с поэтом. Сам он говорил: «Поймите, стихи — дело одинокое, “волчье”». Вот это слово — «волчье» — и вре-

залось в память. Эта переливчатость, ускользание звучат и в его оценках, замечаниях о поэзии.

Межиров всю свою жизнь помнил огромное количество чужих стихов наизусть и великолепно их читал, точно передавая ритм, просодию и наполняя стихи тугим, прерывистым (заикающимся) выдохом своего, межировского поэтического голоса. Так же, как одаренный дирижер точно чувствует и следует нотам в музыке композитора, но придает оркестру свой безошибочный, узнаваемый звук, манеру исполнения.

Межиров как поэт состоялся сразу. Потрясающее стихотворение «Одиночество гонит меня от порога к порогу» написано в 1944 году — я думаю, сразу после комиссования по поводу тяжелого ранения, после излечения. Это совсем ранние стихи, поэта двадцати одного года отроду!

*Одиночество гонит меня
На вокзалы, пропахшие воблой,
Улыбнется буфетчицей доброй,
Засмеется, разбитым стаканом звеня.
Одиночество гонит меня
В комбинированные вагоны.*

И дальше:

*Одиночество гонит меня. Я стою,
Елку в доме чужом наряжая,
Но не радует
радость чужая
одинокую душу мою.*

Здесь уже сквозит характерное для Межирова безошибочное чувство поэтического осязания, предметности, фактурности поэтического материала. Любой предмет, любая вещь, попадающая под «волчий» взгляд поэта, превращается в поэтический материал. Даже в замечательном стихотворении его военного «однокашника» Давида Самойлова «Сороковые, роковые» присутствует все же описательный поэтический символизм, хотя и звук прекрасный. У Межирова эта поэтическая конкретность, предметность идет от ранних стихов, от уже упомянутого — и до последних стихов американского времени.

Вспомним, в одном из лучших стихотворений русской поэзии середины XX века, «Коммунисты, вперед!», к сожалению, не включенном в противоречивую антологию «Строфы века»:

*Шли солдаты,
От беженцев взгляд отводя,
И на башнях
Закопанных в пашни КВ
Высыхали тяжелые капли дождя.*

*И без козуха
Из сталинградских квартир
Бил максим,
И Родимцев ощупывал лед.*

Эти тяжелые капли на раскаленных башнях танков КВ до сих пор не высохли в поэзии Межирова.

В его стихах есть настоящая игра, игра искусства и игра с жизнью, пастернаковская — «до полной гибели всерьез». Линия игрока, линия бильярда в жизни Межирова отнюдь не случайное совпадение с его поэзией, да и игра в карты тоже. Я помню, сколько то лет назад мы пошли гулять от его нью-йоркской квартиры напротив Lincoln Center и прошли по Columbus Avenue. Я почувствовал в Межирове мужское ведущее желание показать «американцу» что-то, чего он не знает, что-то важное, которое находится рядом, но ему, «американцу», недоступное. Александр Петрович завел меня в огромный зал бильярдной, по-моему, существующей уже несколько десятков лет на Columbus. Мы устроились с видом на сражение, взяв по пиву, и он стал мне, невежественному, праздному наблюдателю, объяснять, кто по-настоящему хорошо играет, а кто нет, и что сейчас случится в этой игре, которая разворачивалась перед нами, почти немая, мне непонятная, драма средь бела дня в центре Манхэттена.

Эта часть настоящей жизни, очевидно, страшно важна для Межирова. Все литературные отношения, тусовки, литературный процесс — для него вторичны, обязательны (или были обязательны), но случайны. Как-то в частном разговоре Сергей Гандлевский правильно сказал: Межиров совершенно другая фигура, совершенно отличная от своих современников и чуждая тем, с которыми он всю жизнь пил, ел, спал и проводил время. Это другой случай.

Вот что сам Межиров говорил в письме в редакцию журнала «Арион», опубликованном вместе с его подборкой, в том числе и «бильярдных стихов», метко отобранных редактором «Ариона» Алексеем Алехиным: «Всю жизнь я играл, привычно считая выход с одной, а то и с двух колод. Это развивает память».

А вот про бильярд: «Николай Иванович Березин (кличка «Бейлис») был, думаю, самый великий бильярдист. ...Н.И. играл бже-

ственно. Удар, внешне вялый, как бы слабый, но безмерно плотный, винт небывалый... В его игре пели скрипки Моцарта, Вивальди». Он дальше упоминает знаменитых Егора Митасова, Эмиля “Ташкентского”, Владимира Симонича. «Я только их любил и люблю, этих людей. Все остальное было пустое, пьяное, литераторское».

Вот к этому пьяному, литераторскому Межиров всегда презрительно и относился. Другими словами — к литературному процессу. Он и сам был «литературным процессом», но литературным процессом всей русской поэзии, а на самом деле — и мирового искусства, в его акмеистическом и эккуменическом смысле. Его истоки: Веласкес, Блок, Маяковский, Тютчев. Вот такой странный набор. Совсем не те имена, которые обычно рядом с ним ставили, т.е. более или менее ранняя «советская» поэзия и поэты фронтового поколения. Это — отдельный разговор.

Вот важное его стихотворение:

*Чтобы закончить путь
Русский, равнинный, плоский,
Надо мне дотянуть
Старых стихов наброски.*

*Надобно мне... А я
После последнего края
Звуки сшиваю в края,
Новое сочиняя.*

*Я сочинять устал
И утомил семейство.*

*Это мне нашептал
Сосед по Красноармейской.*

За несколько десятилетий строка Межирова совсем не ослабла, не провисла, а наоборот, приобрела некоторую широту, свободу, отдельными своими чертами стала приближаться к свободному стиху. Свободному — я говорю не в смысле верлибра, а в смысле свободы дыхания и некоторой раздумчивости. Межиров — наблюдатель. И поэтому не случайно его крепко сбита мерная строфа, с переходами, продолженностями и речевыми перехватами, со временем стала еще больше меняться в этом направлении. Не случайно последний десяток с лишним лет, когда поэт оказался в Америке и стал наблюдать другую жизнь, строка его стала более раздумчивой и более свободно выгибаемой, инфлексивной.

Я совсем не имею в виду влияние английского языка, которого Межиров не знал, но какую-то ауру звука и предметности окру-

жающего нового мира, которые для него так важны. Достаточно вспомнить его изумительное стихотворение о Вашингтоне, «Благодаренье». В последние годы он находит также и жемчужины коротких стихов стихотворений, которые, как правило, имеют очень личное значение, но войдут в сокровищницу русской философской поэзии.

Об этом стоит сказать особо. Межирова, естественно, относят к поэтам фронтовой плеяды. Сам он об этом говорил «так получилось», и это, в какой-то степени, ему помогло. Советской системой он был поставлен на одну полку с убитыми, а поэтами неопасными, фронтовыми поэтами и с не очень опасными другими классиками военного поколения. Межиров там оказался и спокойно стоял в строю, внутри себя делая свое дело. Искусно используя свой военный опыт, свои воспоминания, но в каком-то смысле больше как декорации для своей философской и личной лирики. Он всегда пишет не совсем прямо о том, о чем внешне говорится в стихе.

С моей точки зрения, Межиров принадлежит, прежде всего, к плеяде русской философской поэзии: Пушкину, Тютчеву, в меньшей степени к любовникам. Особенно очевидна связь с Тютчевым, с его изумительным надмирным отсветом описаний природы, с его философической природной поэзией. Кто-то — не помню, кто именно, — исследовал творчество Тютчева и предположил, что поэт подсознательно в своих стихах высвечивал образы природы Южной Германии, где он прожил больше двадцати лет своей жизни и где прошла вся его семейная жизнь, а не родной России. То, что мы учили наизусть в школе как тютчевскую русскую классику.

В описаниях Межирова, конечно, более конкретен, но его чрезвычайная точность и даже страстность по отношению к природному миру, в особенности зимнему, несет какой-то другой, почти потусторонний смысл. Как у каждого большого поэта, у Межирова подсознательно сквозят излюбленные образы или темы, проходящие через все его творчество, особенно снег. Начиная от «тишайший снегопад — дверьми обидно хлопать» и дальше: «И тает первый снег на сердце у меня», и до уже упомянутого вашингтонского стихотворения «Благодаренье»: «Вашингтон даже в пору зимы...» И дальше: «Неожиданный снег появляется над Вашингтоном...» А «черный снег» бильярдных Межирова?!

Любопытны пристрастие Межирова к балтийскому ландшафту. Эта тема повторяется от ранних стихов до совсем последних, доходя до вершин одного из стихотворений последних лет: «Берег морской не совсем обезлюдел пока еще».

И дальше: «“Велта + Ивар” на тусклой коре идиллически вырезано. Чаек молчащих тяжелый медлительный лёт.” Вспомним также: «Я к земле сквозь тусклый лед приник... Человек живет на белом

свете — мой далекий ответ! Мой двойник!» Вот всю свою творческую жизнь поэт и ведет диалог со своим двойником.

Важно упомянуть особо любимого Межировым Николая Глазкова (1919–1979). К случаю поэта Межирова можно прямо отнести замечательные строки Глазкова:

*И художник сам тому не верил,
Расточая бисер дуракам,
Но в такие дни обычный веер
Поднимает ураган.*

*И художник, в мире непогоды
Ожидая, миром овладел,
И тогда сверкнули пароходы,
Ночью пароходы по воде.*

В конце хотелось бы привести мое стихотворение, посвященное А. П. Межирову, которое ему нравилось и он просил его читать:

* * *

А.М.

*Заикающийся голос в трубке.
Звук пульсирующий истекает в вещь,
в ящик черный, в белую коробку,
превращаясь в речь.*

*Путаник, игрок и полуночник,
офицер, ловец заблудших душ,
словно Адамович — старый мальчик,
перехватчик, уходящий в брешь.*

*Вышел он за куревом на угол,
запропал. Он, в кепке и в пальто,
в темноте стоит, где городские звуки
пьет до дна открытое метро.*

*Там, раскинув звуковые сети,
сквозь табачный дым глотает свет
звезд своих, погасших в Новом свете.
Так и жить: зависнуть, выпить где-то,
бормотать стихи, сойти на нет.*

Зоя Межирова

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ МЕЖИРОВЕ

В жизни и в творчестве человек разный. У Александра Межирова были самые разнообразные таланты из этих двух, отдельных друг от друга областей.

Главным был, конечно, — поэтический талант. Его мать, Елизавета Семеновна, хотела, чтобы сын с детства полюбил поэзию. Поэтому она стала вечерами перед сном читать ему стихи — Некрасова, Пушкина, позднее Тютчева, Блока. Его дед писал стихи. *«Истинные поэты потому именно редки, что им должно обладать в одно и то же время свойствами, противоречащими друг другу: пламенем воображения творческого и холодом ума поверяющего»* (Баратынский). Межиров считал, что истинных поэтов всегда очень мало и что остальные пишущие — просто стихотворцы. Считал, что поэтов так же немного, как настоящих читателей, которые по-своему тоже поэты, только не пишущие и, во все времена, являющиеся величиной постоянной.

К этому надо добавить вкус Межирова. Он проявлялся во всем. В одежде, в том, каким был его кабинет, в поведении, в разговоре. И, конечно, в поэзии. Считают, что талант — это вкус. Чаще всего вкус бывает природным или воспитывается чтением и окружением. Думаю, у него это слилось воедино. Он родился в интеллигентной семье, его отец и мать окончили классические гимназии, где и в женских преподавались древнегреческий и латынь. Само расположение дома, где он рос, в Лебяжьем переулке, в сердце старой Москвы, атмосфера улиц и всей жизни тех лет, язык того времени, «еще водой не разведенный», музей Изобразительных искусств им. Пушкина рядом на Волхонке, куда он часто бегал, — все это сформировало его. В школе он попал в класс выдающегося учителя литературы В. В. Литвинова.

Таким образом, для возникновения поэтического таланта жизнью было привлечено множество обстоятельств.

Были у Межировы и другие таланты.

Например, его память. Она была совершенно феноменальной, он знал наизусть великое множество стихотворений, своих и написанных другими поэтами. Он мог читать их бесконечно, поражая окружающих. «Читать мог хоть всю ночь — пока не пересохнет горло... искренне, со слезами восхищения на глазах. Таких людей больше нет», — писала в своих воспоминаниях дочь поэта Арона Вергелиса Наталья Вергелис. Интересно, что заикание Межирова, появившееся от контузии на войне, мгновенно пропадало, когда он читал стихи или говорил о поэзии.

Другим его талантом была большая образованность в разных областях. В школьные годы он прочитал все главные произведения мировой литературы, прекрасно знал экономику, хотел стать историком, посещал лекции на историческом факультете МГУ. Но любовь к Поэзии взяла верх.

Его день всегда начинался чтением. Так как ночью спал он очень мало, то читать начинал в 5 утра, и, как мы дома говорили, к 8-ми уже половина его рабочего дня была завершена.

К тому же у него был дар импровизации. Он иногда мгновенно сочинял остроумные шуточные стихи, жаль, что мы их не записывали, а сам он эти экспромты, конечно, не хранил.

Еще одним его даром был дар общения. Где бы он ни был, в России или в Америке, он незамедлительно обрстал знакомыми, как магнит притягивая людей. Он был необыкновенно интересным собеседником, и сам очень любил общаться. Какая-то тайна была в его облике, в выразительных серо-голубых глазах, в самой манере разговаривать. Никогда не ощущалось, что он знаменитый поэт, он был прост, но без бесцеремонности и фамильярности. Уважал собеседника и так строил общение, что на «ты» практически ни с кем не переходил.

Никак не оставить без внимания его талант к игре. Страсть к ней владела им всю жизнь. И даже эмиграцию он претворил в спасительную игру:

* * *

*Все круче возраст забирает,
Блажными мыслями бедней
От года к году забавляет.
Но и на самом склоне дней*

*И, при таком солидном стаже,
Когда одуматься пора,
Всё для меня игра и даже
То, что и вовсе не игра.*

*И, даже крадучись по краю,
В невозвращенца, в беглеца
И в эмиграцию играю.
И доиграю до конца.*

Раскатисто-рокошущее, много раз повторенное «Р» в конце и гулко цокающее «Ц» создают удивительную силу воздействия.

Игра для него началась в 12 лет, когда отец друга и одноклассника Вити Гофмана, в то время подпольный игрок, стал регулярно

учить двух мальчиков игре в карты. А они оказались талантливыми учениками.

Поначалу он часто проигрывал, но впоследствии играл с очень сильными игроками, приобретя большой опыт.

Никак не меньше он любил игру на бильярде. В зеленом поле сукна, с перемещением на нем шаров, как фигур на шахматном поле, он видел отражение конструкции мироздания и считал, как и гениальный игрок, первый кий Советского Союза Ашот Потекян, что «бильярд – это настоящая таблица Менделеева — бездна, в которой есть всё и которую невозможно описать».

В подмосковном Переделкино, на втором этаже нашей литфондовской дачи-сторожки, который полностью занимал его кабинет, знакомые бильярдисты, собрав, установили для него большой профессиональный бильярдный стол.

Устраивались настоящие турниры. *«Я только их любил и люблю, этих людей. Все остальное было пустое, пьяное, литераторское»*¹.

Он ускользал в игру, как скрывался в свои фантазии и мистификации, они давала новую энергию и отдых переключения от однообразия дней и накопившейся усталости.

Был у него и талант публичных выступлений, завораживающее вдохновение слышалось в густом гуле, когда читал стихи. Тонко чувствуя и передавая интонацией акценты и необходимые паузы («...в паузах ангелы тихо / Вздыхают и плачут о нас». Генрих Гейне), он рубил правой рукой воздух, от восторга прикрывая глаза. А из чтецов признавал только Яхонтова, которого боготворил. *«Самым большим потрясением моей жизни были встречи в концертах с Владимиром Яхонтовым, гениальным чтецом стихотворений, прозы и гениальным артистом. Такого артиста я вообще не видел и, видимо, уже не увижу. Ну вот есть пластинка “Моцарт и Сальери”. Это нечто невероятное»*².

Признают его большой талант к преподаванию. В Москве многие годы он вел семинар на Высших литературных курсах при Литературном институте им. Горького, будучи там профессором. Курс длился два года. Он отбирал талантливых людей самых разнообразных профессий, пишущих стихи, — тех, которым не хватало знаний и литературного опыта. Среди них были абитуриенты технических, медицинских профессий, из городов, провинций и деревень. Но, конечно, только одаренные проходили конкурс и принимались им в его семинар на ВЛК. К нему в аудиторию захо-

¹ Александр Межиров. Из письма А. Межирова в редакцию // Арион, № 4, 1996.

² Александр Межиров. «Поэзия — ни в коем случае не профессия...» // Какая музыка была! — М.: Эксмо, 2014. — (Золотая серия поэзии).

дили поэты, учившиеся в Литинституте, страдая на скучных уроках своих преподавателей и мечтая увидеться с ним и поговорить. Часто такое общение продолжалось у нас дома на улице Красноармейская или на даче.

В США, в Нью-Йорке, он тоже вел поэтический семинар, а в Портленде на русском отделении университета читал курс о поэтах «Загадка русской души» и лекции о Толстом и Достоевском.

Его телевизионные передачи о поэзии в Москве были значительными и незабываемыми.

А в Нью-Йорке на радио он вел «Альманах поэзии», расшифровки которого еще предстоит переводить в статьи.

«Поэзия — ни в коем случае не профессия, — говорил он, — она святое ремесло».

Этому ремеслу он был абсолютно предан, отдаваясь без остатка.

Еще одним даром, настоящим талантом его души было помогать способным молодым поэтам в осуществлении публикаций, издании книг, в представлении их к переводческой деятельности, которая была в то время немалым заработком. Телефонные разговоры о поэзии начинались с утра и продолжались иногда по несколько часов, впечатлившее стихотворение с воодушевлением читалось и разбиралось со знакомыми литераторами, а мнение Межирова высоко ценилось в поэтической среде и способствовало известности в ней, которая вела к дальнейшему признанию.

Талант бескорыстной отдачи литературных знаний был его внутренней потребностью. Под его влиянием и в ауре его поэтики формировалась целая плеяда поэтов, среди которых был и Евгений Евтушенко, не один раз говоривший о том, что без уроков Межирова не было бы лучших его стихов.

Был ли Межиров администратором своего литературного успеха? Думаю, после трагических дней войны, через которые он чудом прошел почти невредимым и где судьбой ему было уготовано не погибнуть, его начало в Литературе во многом оказалось благодарным, — Павел Григорьевич Антокольский взял под свое крыло молодых талантливых поэтов, как их называли — фронтовиков, помогал им по-отечески, вводя в литературу; замечательное стихотворение «Коммунисты, вперед!» тоже сыграло немалую роль — исполнявшееся на партийных съездах, обладающее, по сути, как признают многие, силой молитвы, и, конечно же написанное на самом высоком уровне вдохновения, в состоянии транса. Оно о бескорыстном и беззаветном служении Идеалу, веяние которого, как он считал, вернется.

* * *

*Когда сошли утопии с орбиты
И обнажилось мировое зло,
Не из народа, из низов элиты
Коричневое что-то поползло.*

*Однако без утопий невозможен
Миропорядок, и опять они
Вернутся на орбиту, как бы ложен
Их смысл высокий не был искони.*

В телевизионной передаче 1982 года о Ярославе Смелякове он сказал: *«Поэтический характер мышления, именно поэтический — <...> редчайший дар. Между тем характер мышления в стихах нельзя ничем заменить, ни мастеровитостью, ни внешним артистизмом, ни изобретательностью. Все это, как говорили когда-то, тело поэзии, а не ее душа. Точно так же, как ничем нельзя заменить инстинкт лаконизма, врожденный инстинкт, определяющий размеры слова, строки, стихотворения. Древние утверждали, что о стихах невероятной силы нельзя ничего говорить, их можно только произносить».*

Стихи А. Межирова имеют не всегда присущую стихам других поэтов особенность — они часто сразу, после одного-двух прочтений, запоминаются буквально наизусть.

Наверное, этому способствует их музыкальность и пластика.

«Сущность поэзии — звук», — полагал Гёте.

Александр Межиров самозабвенно верил в это.

Материал подготовлен при участии Анны Генри-Гриард

Ирина Машинская

«НИ АД, НИ БЛАГОДАТЬ...»

Если была ирония, то предназначалась она только ему самому. Мне нравилось его восхищенное уважение к своеобразию другого человека, в том числе и к его трудным или смешным свойствам. Собственно, так или иначе все окружающее становилось у него таинственным партнером по игре и уже в этом приобретало новое, для самого этого окружающего неведомое значение. Если роли не было, она придумывалась, возникал характер, персонаж, на скучном заасфальтированном клочке вырастало деревце.

Был у него азарт: попасть в тон, не соврать — всюду соврать можно, но не в стихах. И была еще, конечно, другая страсть, другой азарт, о котором пишущие о нем всегда вспоминают. Недаром столь многие наши разговоры были об этом — об игре, о логике ее, о ее красоте. Мы не совпадали в литературных вкусах, но сближала нас, помимо неуникальной любви к стихам, недостаточность одного лишь филологического существования в мире, интерес к задачкам, к немудреной, но оттого не менее увлекательной математической игре. О задачах этих мы говорили почти так же часто, как обо всем другом, ну, может, кроме стихов. По образованию историк русской экономики, А.П. признавался, что любил в экономике именно математическую ее основу.

Довольно быстро оказалось, что оба мы в детстве участвовали в математических олимпиадах — не помню, как он, я-то — вопреки желанию родителей. И об этом тоже говорили. И о том, как эти задачки меня в эмиграции выручили, как они меня теперь кормят. Обычный диалог: А.П. (энтузиастически, обычно в самом начале разговора): «У вас есть новые стихи, Ирина? Прочтите». Я (уныло): «Нет, А.П., я ничего не пишу — не написала — я сейчас не могу писать. У меня школьный год».

И он тогда меня утешал, мол, это хорошо, такая вот большая пауза — это очень даже хорошо, ибо потом, когда стихи пойдут, они будут у Вас такие... такие... Но потом неизменно сокрушался: как же вам (то есть моему поколению) тяжело живется! Как же нам легко жилось!

И со стыдом, все еще поражаясь, говорил о том, как вольготно жили советские литераторы, со всякими домами творчества, командировками, гонорарами, тиражами... («Подумайте, моя книга издавалась...» — и называлась совершенно невероятная и потому сразу выпадающая из памяти цифра). А главное — с возможностью зарабатывать именно литературой, не отвлекаясь на учительство

и прочее. Многие ли из бывших членов Союза советских писателей этому благополучию удивлялись, стыдились его, как стыдился он?

— Ирина, Вы только подумайте: меня, — особенно сильно заикаясь, медленно говорил он, — меня, который ну совершенно не переносит жары, все время посылали в командировки... в Африку!

Я потом посмотрела — вдруг это так, фантазия, импровизация. И нашла-таки, все было так. И я вспомнила стихи об Африке, и особенно то маленькое, о том, как по пути из Ганы останавливается в Париже, — и в нем чудесная строка о фиалковом дожде.

У него было лицо постаревшего мима. Не от предка ли, французского еврея-ювелира, выпisanного Екатериной из Парижа, по легенде (к которой, впрочем, относился скептически) — фаворита ее? Переименованная позднее на украинский лад французская фамилия означала теперь границу, межу.

*А жил как жил, безбытно,
Ни ад, ни благодать,
И было любопытно
Все это наблюдать.*

От этого соглядатайства в стихах Межирова жить грустно.

Собственно, было два Межирова: один заикался, кружил вокруг темы, спотыкался, как клоун, о слова и собственные смешки, затягивался сигаретой, извинялся, улыбался на другом конце провода, там, одинаково далеко, в Орегоне ли, в Нью-Йорке. Другой читал стихи подряд — на одном выдохе, легко и влюбленно. Монологи были пластичны в своих непредсказуемых, захватывающих врасплох тематических сменах, будто скользил по сцене.

Большинство наших разговоров происходило в начале 2000-х. У меня только что появился первый мобильник. Не умея вести долгих бесед на месте, я говорила с ним, петляя по ночным улицам нью-йоркского пригорода. В Портленде было на несколько часов раньше, но и так А.П., ночному человеку, никакой час не был поздним. Рассказы повторялись и всегда оказывались чуть другими, как сыгранная много раз роль. Так, несколько раз была исполнена вариация на тему «Василий Комаровский». Стихи Комаровского, которые читал А.П., были хороши, я и сейчас помню улочку, где я их впервые услышала, — но еще удивительнее была эта история: Комаровский, в изложении Межирова, умер при сообщении о начале Первой мировой войны. Вот так, буквально: в комнату входит человек и говорит, что началась война. И поэт падает. Потом, разыскав стихи Комаровского, я увидела, что даты жизни с этим красивым мифом расходятся: он, действительно,

умер вскоре после начала войны, но не летом, а позже, в сентябре. Но имя Комаровского и стихи навсегда остались у меня связаны с той ночной картинкой — яркий мокрый черный асфальт, густая листва нью-джерсийского городка и сильный голос А.П., повествующего о полностью завладевшем его мыслями поэте начала прошлого века. Да и сам ведь он был целиком в Серебряном. Мим, арлекин.

Была в наших разговорах о стихах опасная тема. С присущей ему твердой уверенностью оценок, не без эпатажа перечеркивал как «неудавшиеся» целые книги моих любимых поэтов, целые пласты, а то и все творчество.

При этом любил, например, не симпатичного мне Адамовича — за стихи, конечно, а не за враждебность к Цветаевой, — но и, кажется мне, немножко и поэтому, ибо и стихи ее, и самый ее образ не принимал. Но при этом не мог не знать, конечно, и поздние, прекрасные, посвященные М.Ц, покаянные стихи Адамовича. Что дела, впрочем, не меняло, ни для него, ни для меня. Кульминацией же был неизменный, мною весело ожидаемый и всегда звучавший чуть по-другому постулат об «ошибке» моего поколения поэтов, моей «трагически дезориентированной среды», о том, что нас «обманули», убедив в необходимости «сложного» в ущерб «простому».

Об этом было и в письмах.

«Все, конечно, чтут Ходасевича, — писал он, как будто дразня меня, — а тянутся к Мандельштаму, к его неприятной манерности, избыточной изобретательности, которые Шопенгауэр назвал телом поэзии. Конечно, поэзия без тела невозможна, почти невозможна и кончилась на Блоке. <...> Но мне кажется, Вы иногда боитесь остаться в литературном одиночестве. Не бойтесь...» (из письма 25 июня 1997 г.).

Это многократно повторенное положение было лейтмотивом и писем его, и наших бесед, к немалой моей досаде: и то, кому ж приятно оказаться обобщенным и вмятым в некую мифическую среду. Со временем, впрочем, я привыкла и переживала этот монолог как необходимую увертюру, что-то вроде однообразия молнии и грома, за которыми последует всегда новый, интересный дождик.

В увертюру входило и обязательное устное эссе об одном моем, ему полюбившемся, стихотворении. Оно нравилось ему вопреки тому, что должно было казаться ему, в соответствии с его парадигмой поэзии, избыточным. Непонятным для меня образом он находил в нем ту самую таинственную «простоту» — простоту и сухость, два качества, которые любил в Ходасевиче. И я это стихотворение ему посвятила.

Я не спорила, просто слушала и все. На востоке, за солеными болотами, стоял Нью-Йорк, в котором он проводил зимы, едва различимое бледное зарево.

*Нью-Йорка постепенное стиханье.
Величественное стеканье тьмы.
Все это так. Но мы... Но кто же мы?
Пыль на ветру и плесень на стакане.*

В стихах Межирова всегда по одному точному слову на стихотворение, или одному образу, или одной точно отмеренной эмоции, или одному необычному, задевающему нас, трогаящему непонятно как — душевному повороту, и вот по ним — слову, образу, повороту — стихотворение и запоминается. Вот, например, в восьмистрочном, маленьком, о болельщике, после спокойно-бесцветного разгона первых четырех строк — такое великолепие:

*Он в кассе билет оплачивает
И голову отворачивает,
Когда меня в борт вколачивают
Защитники ЦСКА.*

Во-первых точнейшее слово вколачивают, а в нем к тому же и стук, характерно усиленная акустика хоккейного матча, коробки, и короткое громкое: борт, да еще шипенье коньков и сухой стук в слове защитники — плюс щит, щиты, щиток — целый матч в двух строчках.

Чтобы стихотворение было нужно читателю, в нем, даже самом сдержанном, помимо страсти автора «слагать слова», о которой речь в «Балладе о цирке», должна быть заложена необходимость, вытяжка, тяга. И вот что удивительно: она, эта тяга, в этих, часто малокровных стихах таинственным образом присутствует, и именно это кажется мне самым поразительным в межировской поэтике.

Вот, например, как в третьей и четвертой строчках он преодолел навязанный самому себе хорей:

*Все долбим, долбим, долбим,
Сваи забиваем.
А бывал ли ты любим
И забываем?*

Может, тайна тут — в личности автора, которую ни с какой другой не спутаешь, личности, всегда готовой к самоироничному обороту, холодноватой, сдержанной и в то же время страшно уязвимой.

У Володина была такая записная книжка, «Мои стыды». Вот об этом и были, в конце концов, все наши с А.П. разговоры: мои стыды. Может, отсюда и желание отойти от себя, отойти подальше. Пере-

вести взгляд на другого. При жизни себя самого — забыть. Вот так, как это сказано у Ходасевича:

*Здесь, на горошине земли,
Будь или ангел, или демон.
А человек — иль не затем он,
Чтобы забыть его могли?*

Когда-то у меня был темно-красный сборник Межирова, с твердой рифленой, волнистой на ощупь обложкой, похожей на мелко-водье Балтийского моря. Книга всегда раскрывалась на стихотворении о загадочной, пронизанной светом, воображаемой летней Москве, той, от которой меня в детстве каждое лето увозили.

*В огромном доме, в городском июле,
Варю картошку в маленькой кастрюле.*

*Кипит водопроводная вода, —
Июльская картошка молода...*

Автор этого стихотворения мной любим. И забываем.

Александр Избицер

«ВСПЫШКОЙ ПАМЯТИ МГНОВЕННОЙ»

*Для меня и самые мелкие детали, связанные
с жизнью А[лександра] П[етровича], дороги.*

Михаил Синельников,
запись в Facebook от 21 марта 2017 г.

То было в феврале 1993 года. Я лишь недавно по приглашению Романа Каплана стал играть и петь в ресторане «Русский самовар». В то время в ресторане еще не было многочисленных встреч-вечеринок поэтов, а само место еще не стало прославленным, тем более — легендарным. Тот вечер был тоже пустынным, три-четыре человека в зале. Роман сильно простужен, настроение мрачное. Исполняя песни Вертинского, я заметил человека, скромно сидевшего в плаще и берете неподалеку от бара за пустым столиком. Он слушал Вертинского, неотрывно глядя на меня с пристальным вниманием, большими, распахнутыми светлыми глазами и улыбкой — столь доброжелательной, столь открытой, что я подошел к нему и представился. В ответ — «Межиров». Это имя в ту пору для меня было именем автора исключительно военных стихов, стихов патриотических, но я скрыл свою минутную растерянность от сочетания «Межиров — Нью-Йорк». Я даже забыл, что Межиров — автор одного из прекраснейших, любимейших мною стихотворений о войне, которое я неоднократно читал со сцены Ленинградской консерватории на торжественных вечерах:

*Стенали яростно, навзрыд,
Одной-единой страсти ради
На полустанке — инвалид,
И Шостакович — в Ленинграде.*

Стихи неизменно вызывали слезы у многих, помнивших Дмитрия Дмитриевича в его родном городе, в его родной консерватории. То, что Шостакович, которого война застигла в Ленинграде, «стенал яростно, навзрыд», впоследствии оказалось подлинным штрихом, но как мог прознать об этом Межиров, который не был знаком с композитором?

Александр Петрович спросил, знаю ли я «Бал Господен»? Не говоря ни слова, я вернулся к роялю и исполнил эту песню.

— А вы знаете, почему Вертинский написал «В этом платье печальном Вы казались Орленком, Бледным маленьким герцогом сказочных лет...»? Кто такой Орленок?

К счастью, я знал и назвал пьесу Ростана: «L'Aiglon».

— А вы поете раннего, эпатажного Вертинского?

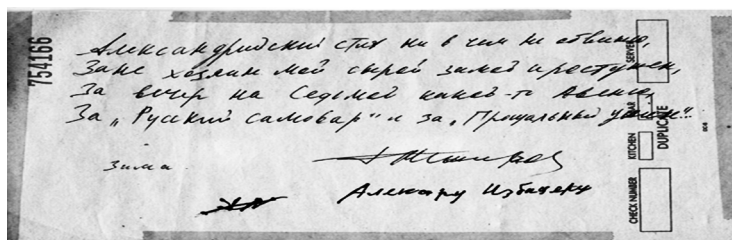
— Нет, я не знаю этих песен.

Я пригласил Рому Каплана к столику, но Роман, обменявшись с Межировым скорым рукопожатием, попросил прощения («Я простужен...») и отдалился.

Прежде чем уйти, Александр Петрович попросил листок бумаги. Я протянул ему лишь то, что смог обнаружить в ресторане, — бланк из счетной книги. На нем Межиров и написал:

*Александровский стих ни в чем не обвиню,
Зане хозяин мой сырой зимой простужен,
За вечер на Седьмой какой-то Авеню,
За «Русский самовар» и за «Прощальный ужин».*

Зима. А. Межиров Александру Избицеру



Александр Петрович возвратился в ресторан на следующий же вечер. Он принес с собою магнитофонную кассету с песнями «эпатажного» Вертинского, которую мне и преподнес. Репертуар кассеты Межиров записал собственноручно.

Я, разумеется, горячо поблагодарил его.

Александр Петрович дождался окончания моей работы, т.е. полночи, и пригласил меня к себе домой, сказав: «Это здесь, рядом». И мы пошли по рыхлому снегу да лужам. По дороге Межиров сказал, что за квартиру, которую он снимает, он ничего не платит, поскольку домовладелец — его большой поклонник. Начиная с той минуты, я заподозрил, что Александр Петрович есть большой фантазер.

Вскоре, когда мы прошли через крошечный коридор квартирки в крошечную же кухню, когда Межиров умудрился, опустошив маленький же холодильник, щедро сервировать стол и за ужином рассказать, что, оказавшись в Нью-Йорке без денег, он первым делом поехал на Брайтон, где благодаря умелой игре в карты и на бильярде сумел скопить немалую сумму, мое подозрение стало убежденностью: Межиров — большой выдумщик.

Мальчик жил на окраине города Колпино.

Фантазер и мечтатель.

Его называли лгунишкой.

*Много самых веселых и грустных историй
накоплено*

Было им

*за рассказом случайным,
за книжкой.*

(«Стихи о мальчике»)

Точнее сказать, вполне правдоподобные рассказы его чередовались с историями воистину фантастическими. Потому, хотя я и записал все детали рассказанного Межировым тотчас по возвращении домой, я не стану их передавать здесь. Скажу лишь вкратце: Александр Петрович открыл для меня ту сторону московской предвоенной жизни, о которой я не имел ни малейшего представления. То была полуподпольная Москва азартных игр со своими королями, шутами и многочисленной придворной челядью. Межиров вдохновенно рассказывал также о цирке и о спектаклях любимого им В. Э. Мейерхольда.

Я сказал Александру Петровичу, что мой учитель и друг Исаак Давидович Гликман, который был знаком с Мейерхольдом, издал уникальный труд «Мейерхольд и Музыкальный театр». Межиров: «Я должен прочесть эту книгу! Будьте добры, одолжите мне ее!»

Благодаря фантазиям, неподдельной любви к цирку, к маскам, к театру Мейерхольда, к раннему Вертинскому, Межиров в моем представлении словно выскользнул из плеяды поэтов военной поры, став обитателем Серебряного века, «Мира искусства»! Дальнейшее радостное мое знакомство с поэзией Александра Петровича это подтвердило.

Я покинул Межирова далеко за полночь при первых же знаках его утомленности.

Долго носил книгу Гликмана с собой, но Александр Петрович больше в «Самовар» не пришел. Общих знакомых у нас с ним тогда

не было, я тревожился, но в конце концов меня утешила старая, добрая поговорка: “Pas de nouvelles, bonnes nouvelles”.

Более двенадцати лет спустя, а именно 15 апреля 2005 г., мне внезапно позвонил Е. Евтушенко:

— Саша, ты сейчас занят?

— Да, я уже на пороге...

— Ты мне очень нужен, не уходи, я сейчас буду.

Женя пришел крайне взволнованный:

— Пойдем! Я все объясню по дороге.

Оказалось, Женя ведет меня к А. П. Межирову, уже некое время обитавшему в Нью-Йорке. («Вот неожиданный сюрприз!») Александр Петрович со своей женой Лёлей жили рядом с Бродвеем, неподалеку от Линкольн-центра, и мы прошли около двадцати блоков вверх по 9-й авеню.

Евтушенко замыслил издать книгу избранных стихов Межирова, наиболее полной коллекцией из существовавших. Лёля привезла из Москвы несколько мешков с архивами Межирова, и Женя уже в течение недели денно и ночно, по многу часов с этими архивами работал.

Но сегодня, когда Женя позвонил Межировым, чтобы уточнить время очередного визита, Лёля сказала, что Александр Петрович передумал, он убежден, что его стихи никому не нужны и что дальнейшая работа с архивами не имеет смысла.

Целью нашего похода было попытаться переубедить Межирова, и Женя решил сделать это с моей помощью, поскольку, по его словам, Александр Петрович ко мне хорошо относится.

По пути Евтушенко рассказывал о тех, кому он помогал, кого спасал и защищал, и как часто они платили ему неблагодарностью. (Надеюсь параллель Дон Кихот — Евтушенко очевидна). «Все. Я больше никому помогать не стану!»

Но когда мы оказались у Межировых, стало ясно, что решение Александра Петровича было... розыгрышем.

Встреча стала радостной для всех. Евтушенко читал свои стихи, Межиров (наизусть!) — и свои, и не свои.

Тот наш визит Евгений Александрович описал во вступительной статье к вышедшему впоследствии сборнику «Александр Межиров. Артиллерия бьет по своим. Избранное». В статье он упомянул и меня, но почему-то отнес ту встречу к 9 Мая.

В статье Евтушенко, в числе прочего, есть замечательные, поведенческие строки, помещенные в скобки и поясняющие горячий интерес Жени к творчеству и личности Межирова: «...а если уж говорить по честному, я, как поэт, — одно из его произведений».

Перейдя порог квартиры Межировых, вы попадали в непередаваемую атмосферу стародавних московских домов — и это в самом сердце Манхэттена!

Скажу лишь об особом уюте, порядке, чистоте, об обилии книг на русском языке в шкафу, о круглом столике, стоявшем у балконного окна с цветами в вазе и единственной запиской с номером телефона выдающегося адвоката Бориса Паланта. Об особой доброжелательности и щедрости хозяев, об их прекрасной, «старорежимной» русской речи, великолепно, отчетливо артикулированной.

Созидательницей этой атмосферы и ее хранительницей была, конечно же, Лёля. Во время общения Александра Петровича с Женей и мною Лёля готовила нам ужин на кухне, а впоследствии, по моей просьбе, сделала несколько наших снимков, после чего вновь ускользнула в тень.



У меня тотчас же возникло чувство, что мы с ней давние, добрые друзья. Ни единой жалобы на что бы то ни было или на кого бы то ни было я от Лёли никогда не слышал. Тихая радость, неспешная деловитость — вот что эта красивая женщина воплощала собою.

Впоследствии Лёля щедро одаривала меня. Так я стал обладателем нескольких сборников поэзии Александра Петровича, изданных в разные годы в Москве.

Однажды, узнав о болезни моей мамы, Лёля передала для нее большой браслет с камешками (не знаю, как они зовутся), она верила в целебную силу таких браслетов.

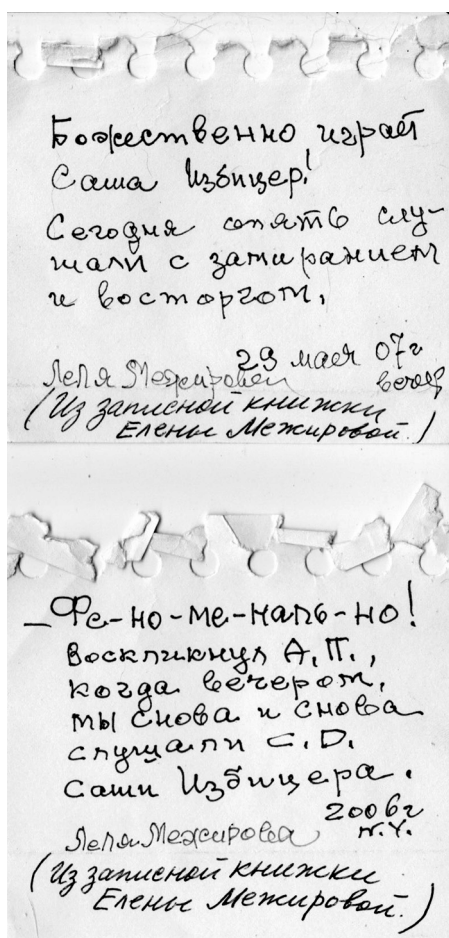
В минуты рассеянности Александра Петровича забота и любовь Лёли принимала форму нарочито строгого и потому забавного тона «приказаний» — что было и трогательно, и больно наблюдать.

Должен, нет, просто обязан сказать, что, увы, распространенное в России мнение об одиночестве, о покинутости Межирова на чужбине (сужу по нескольким публикациям) есть ложь. Его любили, его ценили, о нем заботились. Скажу лишь об опекавших его поэтах Олеге Вулфе и Ире Машинской, о часто беседовавшей с ним по телефону из Колорадо Надежде Кожевниковой, наконец, о Ларисе Шенкер, непрестанно приглашавшей Александра Петровича в ре-

дакцию издаваемого ею журнала «Слово/Word». Дважды Межиров присутствовал и на моих концертах в зале здания редакции. Там, в кабинете Ларисы, я видел его в окружении немалого числа людей, с которыми он охотно беседовал.

Увы, здоровье Межирова стремительно ухудшалось, и однажды, в очередной раз позвонив ему, я услышал от Лёли, что Александр Петрович уже не в состоянии говорить и что больше звонить ему не следует...

Лёленька вела дневник, записывая, в том числе, все реплики мужа. Вот фотокопии двух записей:



С песен Вертинского началось бесценное для меня знакомство с Александром Петровичем Межировым, ими же оно и завершилось...

INTERPOEZIA

